
Анатолий НИКОЛИН

ВЫСОХШИЕ ЗВЕЗДЫ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

LODOMERIA

I

Яркий солнечный свет, преодолев сопротивление шторы, затопил комнату, где я спала. Он был так ослепителен, что пробудилась я мгновенно. И не поверила своим глазам: в комнате было — светло!

Три дня назад, когда мы с папой выбрались из такси, доставившего нас из Львова в санаторий «Пролисок», мы зябко ежились от нелетнего холода, сопровождавшего мелким осенним дождем. Я привыкла, что в июле в городе, где мы живем, стоит испепеляющая жара, листья каштанов сворачиваются в ломкие трубочки и раньше времени покрываются ржавым налетом осени. От безжалостного пекла улицы пустеют, как в средневековом городе во время чумы. Не верилось, что в такую жару фьезоланские друзья Фьяметты часами могли предаваться плотским утехам и беседам на отвлеченные темы.

В наших, а не флорентинских палестинах телесные радости в июльский зной состояли из полусонного пребывания за городом, у воды. Только там избавляешься от давящего зноя, запаха выхлопных газов и тяжелого дыхания двух металлургических гигантов — гордости горожан в советское время и сущего проклятия во времена нынешние. Владелец нещадно дымивших заводов, производивших какую-то редкостную сталь, миллионер Хамитов не горел желанием тратить на очистку воздуха, и над городом то и дело нависала желто-серая копоть, разъедавшая глаза и вызывавшая сухой, судорожный кашель.

В такие дни — экологическое бедствие обычно обрушивалось на город при сильном восточном ветре — я стараюсь не выходить из дома без крайней надобности. Попиваю в компании напольного вентилятора крепкий чай и, валяясь в полуголом виде на диване, читаю Борхеса в струях относительно прохладного воздуха. Моя вызывавшая зависть подруг и растерянное уважение молодых людей эрудиция не что иное, как разновидность патологии, — следствие, пошучивала я, перманентного экологического несчастья. Годами я мечтала уехать куда-нибудь далеко, где воздух чист, как в Альпах, а вода кристальна и свежа. Отдаю все свои знания, смеялась я, за каплю альпийской воды и глоток целебного воздуха. Мечтала, мечтала и вот — домечталась...

Однажды папа пришел с работы домой позже обычного.

Анатолий Игнатьевич Николин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1946 году в Свердловске. Окончил филологический факультет Донецкого государственного университета. Публикации в «Новом журнале», журналах «Москва», «Дружба народов», «Слово/Word», «Крещатик», «Кольцо А». Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова. Лонглистер Бунинской премии. Член-корреспондент Крымской литературной академии. Живет в г. Мариуполе (Украина).

— Был на приеме у врача, — сказал он с озабоченным видом. — У меня очередное обострение...

Этим летом он боролся с рецидивом старой болезни, и по ночам, тяжелым и душным, я прислушивалась, как он не спит и, кряхтя, ворочается в постели от боли в боку.

— Тебя кладут в больницу?

Больше всего на свете — больше удушливого смога, неприятностей на работе или вечного одиночества, к которому у меня, наверное, природная расположенность, — я опасалась за жизнь отца. После смерти мамы — она умерла, произведя меня на свет, от родового кровотечения, — папа так и не женился. Он никогда не объяснял причину своего холостого положения, но я догадывалась и так: папа боялся за меня и мое будущее. К тому же он слишком любил маму, чтобы связать себя с другой женщиной...

Из-за маминой смерти — папа много рассказывал о маме, каждый раз находя новые краски для описания ее короткой жизни (она умерла в двадцать семь лет), — у меня выработался стойкий страх перед замужеством. Оно, замужество, накладывает на женщину обязанность обзаводиться детьми, в этом его смысл и предназначение. «Семья без детей — не семья, — повторяла бабушка, когда мы говорили с ней о моем будущем. — И твоя мама так считала, несмотря на то, что врачи не советовали ей рожать, у нее была плохая свертываемость крови. Но она во что бы то ни стало хотела обзавестись ребенком. Я это говорю не к тому, — насупилась бабушка, — что призываю тебя повторить судьбу матери; в конце концов, заводить детей или не заводить, решать тебе и твоему мужу. Но если здоровье позволяет, женщина должна выполнить свой биологический долг...»

Я охотно с бабушкой соглашалась, но мысль о неизбежном замужестве и будущих родах приводила меня в отчаяние. Я и хотела, и панически его боялась. Перед глазами стояла печальная судьба мамы и точно так же умершей во время родов толстовской маленькой графини. Я и роман Толстого полюбила из-за прелестной молодой жены князя Андрея и ее печальной участи. Подробности ее смерти я знала так же хорошо, как и последние минуты жизни мамы. По ночам мне снились родовые крики и нервные шаги князя Андрея (они же и моего будущего мужа) в коридоре старого отцовского дома. Он только что приехал с войны и едва оправился от тяжелого ранения. Мне мерещилось, что мое замужество и будущие роды тоже будут связаны с войной, и один из нас, я или ребенок, непременно умрет. Мне хотелось, чтобы это была я, — ни в коем случае не муж или дитя.

Ночные мои самоистязания заканчивались бурными слезами и валерьянкой, я заглатывала ее пригоршнями.

И вот теперь — папа...

Когда он жаловался на боли в печени, я замирала в тяжелом, тоскливом предчувствии. «Кажется, началось...» — холодела я. Началось то, к чему, похоже, наша семья приговорена была изначально, — к продолжению несчастий, терзавших ее с того трагического дня, когда умерла мама. А теперь на моих руках еще и девяностолетняя бабушка, папина мама!

Тихонько, чтобы никто не слышал моих невеселых мыслей, я спрашивала себя: кто из них, папа или бабушка, первым отправится вслед за мамой? Думать об этом было тяжело, и я с трудом отработывала часы в музыкальном училище — отвлечься от печальных дум было выше моих сил...

С туманом в голове, вялая и уставшая, я возвращалась домой, чтобы вволю выплакаться в подушку...

И вот у папы новое, изрядно меня напугавшее обострение.

Оно началось позже обычного, не весной, когда, изможденному тяжелой зимой папе становится совсем худо, а в разгар невыносимо жаркого лета, когда от безжалостно-

го солнца и раскаленного воздуха умираешь медленно, как вытасненная из воды рыба. Я представила грязноватую больничную палату, куда папу непременно определяют умирать. Казенный матрас, перевидевший огромное количество покойников, духоту и вонь переполненного помещения, стоны тяжелобольных, их капризы и брюзжание, и мне до боли папу было жалко. А заодно и себя. Ведь я останусь совсем одна в трехкомнатной квартире с доживавшей свой век бабушкой — репетиция моего будущего вечного одиночества...

— Когда тебе ложиться? — упавшим голосом спросила я. — И что ты с собой возьмешь в больницу? Скажи, я тебе приготовлю...

— Не нужно, — сдержанно, как всегда в сложные минуты жизни, сказал папа. — Обострение не существенное. Но и не безобидное. Доктор Леонова предложила палатку в Моршин, в гастроэнтерологический санаторий. Подлечиться и попить минеральной воды. Так что собирайся, поедem в Карпаты, — шутиливо завершил он свое сообщение.

— А как же бабушка?

— Попросим присмотреть за ней Сою. Она будет только рада.

«Со́ня» — это тетя Соня, Софья Дмитриевна, двоюродная племянница бабушки. Жила она одна, в доме в трех кварталах от нас, ее женатый сын жил отдельно. Зимой Соня перенесла инсульт, передвигалась по дому с помощью ходунков, а когда окрепла, перешла на тяжелую деревянную трость. По вечерам она звонила бабушке, жаловалась на плохую погоду, от ее переменчивости у нее начинались колебания давления. На ночные страхи, на невнимание сына... Он забегал к матери редко, приносил продукты, рассеянно выслушивал ее жалобы и убегал, сославшись на «дикую занятость».

— Соня будет довольна, — повторил папа. — Бабушка тоже. Пока мы в отъезде, ей будет с кем поговорить, в старости это важно. И потом, — добавил он, — месяц — не такой уж большой срок. Она и не заметит, как пролетит время...

II

Едва мы вышли из поезда на вокзале во Львове, как смутная тоска зашевелилась в сердце. Хмурая осень, пронизывающий холод и сырость — вот первые впечатления от города, о котором прежде я ничего не знала и не слышала. К разочарованию природой — куда ни глянешь — всюду черные, мрачные леса и дожди, дожди... — добавилось гнетущее чувство потери. Родины, бабушки, ставших близкими лиц на работе. Знакомых улиц и переулков — я так любила бродить по ним весной, в пору цветения каштанов, и осенью, когда под ногами шуршат сухие листья!

Ранняя осень — мое любимое время года. Солнце теплое, ласковое. Воздух свеж и ясен, небо голубое. Мягкой синевой поблескивает море, спокойное и как будто задумавшееся. А тут так ужасно! Тяжело, неприветливо, хмуро... Мрачности добавляют угрызения совести из-за бабушки: как она будет жить этот месяц одна, без нас? С постоянными мыслями о смерти — эта черта ее характера передалась мне по наследству, ни одного дня я не провожу в хорошем настроении. Все время мне чего-то хочется: уехать в другой город или страну. Изменить мир, людей... Но я чувствую, знаю, что такая задача мне не по плечу, не по силам. И плохое настроение окончательно портится. Чтобы не разреветься, я ставлю диск с музыкой Пуччини и, укрывшись пледом, слушаю дотемна. В такие вечера я никого не хочу видеть. Не хожу в гости и раздраженно сбрасываю гудки на мобильный телефон — пусть все знают, какая я никомудушная подруга!

И только папино возвращение с работы заставляет меня преодолеть хандру. Я встаю с дивана и смотрю в зеркало, пугаясь собственного вида: некрасивая, взлохмачен-

ная, глаза налиты тоской и слезами. Домашний халат кое-как прикрывает худое, тщедушное тело — с такими данными о замужестве можно и не мечтать. Угрюмо разогреваю обед и, пока разливаю в тарелки суп, слушаю папины рассказы о прошедшем дне. Какие у него на работе были проблемы и как он доблестно их решал. Их запутанность сводилась к капризам бесконечного множества компьютеров, проходивших через его руки. Он еще не остыл от работы, оживлен, весел и рассказывает о преодолении дневных трудностей с воодушевлением. Меня его оптимизм возмущает, но я стараюсь держать себя в руках: работа — единственная отдушина в нелегкой папиной жизни. Я пытаюсь заставить себя радоваться энтузиазму, с каким он отдается пустяковому, на мой взгляд, занятию — починке испортившейся компьютерной техники. Когда он основал много лет назад собственный сервисный центр, он тестировал аппаратуру сам. Два-три молодых помощника всего лишь добросовестно выполняли его указания. Папа еще молод, пятьдесят пять лет. В отставку вышел майором-компьютерщиком российской армии, переехал с женой из Екатеринбурга к матери на Украину и был полон юношеского энтузиазма. Теперь у него солидный штат айтишников, они и сами могут определять (и решать) сложные технические задачи. Но по старинке папа время от времени срывается с директорского кресла и, закатав рукава, хватается за какую-нибудь «машину» со сложным диагнозом. Хотя теперь он плохо видит, по-детски беспомощно щурится и растерянно разводит руками. Покопавшись для вида в «больном» компьютере, смущенно передает его Диме: «Поковырайся, тут что-то интересное...»

— Этот парень сообразителен, как Цукерберг! — поглощая обед, превозносит папа аналитические способности вундеркинда Димы.

Диме девятнадцать лет, и он — папин любимец. С юношеским любопытством он поглядывает в мою сторону, когда обстоятельства заносят меня в «Дельту». Как правило, я забегая к папе, когда забываю дома ключи. Или срочно нужны деньги на авантюрную покупку — прелестный австрийский свитерок или итальянские туфли на невероятных шпильках.

Дима сидит у входа, будто меня караулит. Сегодня он дежурный на приемке. На стенде для тестирования с десятками розеток и мотками шнуров сияет небесной синевой дисплей новенького LG.

— Привет, Цукерберг, — бросаю я ему, влетая в приемное отделение. Оно увешано камерами видеонаблюдения, и, по моим подозрениям, они-то и мешают Диме раскрепоститься.

Но другого места у нас (вообще-то, у него!) нет, хотя мне от этого ни холодно, ни жарко. Я вовсе не жажду Диминого спонтанного раскрепощения — одно из чудес моего трудного характера. Украдкой мечтать о замужестве и подчеркнуто пренебрежительно обращаться с неплохим и отнюдь не уродливым парнем — это, как выражается папа, *un non-sens...*

— Отец у себя?

— Пьет чай, — кивает Дима.

И, уткнувшись в свои железки, делает вид, что меня не замечает.

Ну и не надо. А вслух я его подначиваю:

— Что же он гению чай не предлагает?

— Гениям некогда, — бурчит Дима, и кончики его ушей краснеют. Как у ребенка от неожиданной похвалы. Так, наверное, краснела и я, когда была маленькой, и папа дарил мне на день рождения коробку конфет «Курочка ряба». Коробка была внутри оформлена в виде курятника с насестом и искусственной стружкой вместо соломы. А в ворохах шуршащей стружки, если запустить туда руку, поблескивали золотые и серебряные яички. Сорвешь с них фольгу — и обнаруживается чистейший шоколад с божественной начинкой!..

Теперь папа дарит мне в день рождения вещи, и, как правило, невпопад. Он отвык от общения с дамами, утратил интерес к флирту, закоснел в понимании женских вкусов. После мамы он перестал следить за модой. Его праздничные подношения год от года становятся все банальнее: французские духи, кроссовки, французская косметика. А я люблю все итальянское, от белья до верхней одежды.

Но столь очевидные пристрастия во вкусах дочери папа не замечает, пропускает мимо глаз и ушей! Моя жизнь течет по собственным законам и прихотям, и папу, живущего по своим, мне неизвестным, они совершенно не интересуют. По-прежнему я кажусь ему малышкой с огромными, как у покойной мамы, глазами и жадным, перепачканным шоколадом клювиком. С неизменной любовью и благодарностью я целую аскетичную папину голову с редкими волосиками и пораженные начинающейся катарактой глаза, забытые, заглушенные непреходящей тоской...

А теперь еще и болезнь печени, от которой, я знала, спасения нет...

Полгода назад после очередного приступа папу госпитализировали, и две недели он лежал под капельницей.

В день выписки я зашла в ординаторскую. Доктор Саркисова, худощавая брюнетка с угрюмыми армянскими глазами, сразила меня своей откровенностью.

— У папы это серьезно? — спросила я.

— Более чем. Жить ему осталось от силы год. Точнее сказать не могу, болезнь протекает по своим законам. Она может на время остановиться или побежать во всю прыть, мы только отслеживаем динамику.

Доктор виновато улыбнулась и расстегнула, а потом снова застегнула верхнюю пуговицу халата.

— Вы не переживайте. Олегу Леонидовичу не помешало бы съездить на воды, это его поддержит, — посоветовала она.

И на вторичное предложение отправиться на курорт, сделанное районным врачом Леоновой, папа наконец дал согласие...

III

С любопытством наблюдаю, как кофейное сияние плотно задернутых штор становится все слабее. Потом они снова наливаются солнечным светом, как будто избавлялись от наседавшего на них облака — извечная борьба света и тьмы протекает и в небесах.

Папы в номере нет. С раннего утра он в цокольном этаже, в санаторной поликлинике. Сегодня у него иголки. Можно полчаса поваляться в постели и о чем-нибудь помечтать, до завтрака еще целый час...

Завтракают в санатории в девять утра. Так поздно садиться за стол я не привыкла, обычно завтракаю в семь. В девять у меня уже середина первой пары, и я вся во власти преподавательского пыла.

Чтобы чем-нибудь себя занять, я принимаюсь планировать наступивший день.

Папа на иголках пробудет минут сорок. Доктор Войтецкий — в первые дни в санатории я называла его Войницким, и папа то и дело меня поправлял: «Не Войницкий, он не имеет отношения к Чехову. А — Войтецкий. Орест Ярославович Войтецкий...»

Доктор Войтецкий, человек основательный и неторопливый, любит подолгу мучить пациентов. Перед завтраком я заглядываю в его маленький, тесный кабинет с белоснежной ширмой и лежанкой, покрытой липкой оранжевой клеенкой. После иголок папа вяловато одевается, и мы с ним вместе идем в столовую. А после завтрака, прихватив санаторную книжку, отправляемся на физиопроцедуры, их у папы целая куча.

Доктор Войтецкий — маленький, стройненький блондин и, как все блондины, человек неопределенного возраста. Сероглазый и внимательный. Ему можно дать тридцать лет, можно пятьдесят и даже сто пятьдесят. Шутка, конечно. Но меня не покидает чувство, что доктор Войтецкий живет очень долго, почти как ворона, и знает, умеет и любит все на свете. Он превосходный знаток акупунктуры, человеческого тела и его особенностей. Подолгу — и очень интересно! — рассказывает о китайских способах лечения болезней, и я поражаюсь его знаниям и оригинальному отношению к человеческой плоти.

Войтецкий натурал во всех смыслах, дитя природы. В Карпатах у него пасека, и каждые выходные он уезжает в горы, чтобы проведать своих пчел и насладиться дикой природой. Живет он недалеко от санатория, в деревне Лисовичи.

Эту деревню мы с папой хорошо знаем. Каждое воскресенье ходим туда на службу в местный православный храм.

Добираться туда надо через всю деревню.

Широкая дубовая аллея, начинающаяся возле санатория, ведет прямо к церкви. За мостом через мутноватый ручей открываются заливные луга со стайками уток и гусей. Слева — покрытые полиэтиленовой пленкой плантации редиски, а далее — мы угадываем его расположение по небольшой кучке молящихся — скромный деревянный храм у дороги.

Службу правит высокий, черноволосый и чернобородый отец Виктор, он нам нравится. У него прекрасный баритон, густой и благородный. Взгляд, когда во время проповеди он обращается к пастве, строг и доброжелателен. Выражает постоянную готовность прийти на помощь: подать толковый совет, утешить в скорби, осенить крестом заблудших и больных. Папа тронут его добротой и библейским величием души, и в церкви я замечаю в глазах у него слезы. Тепло и крепко папа сжимает мою ладонь, и мне рядом с ним ничто не страшно. Отец Виктор (так мне кажется) с одобрением следит за каждым моим взглядом, каждой пролитой слезинкой и будто сопровождает в неведомые духовные выси...

После службы папа задумчив и печален. Я понимаю его состояние и не донимаю его вопросами.

— Тебе нравится в храме? — нарушает молчание папа, и я улавливаю в его интонациях глубоко спрятанную робость. Ему хочется рассказать, что его волнует, но он меня стесняется. Он всегда робел в моем присутствии, даже когда я была маленькая. Замыкался, уходил в себя, и мне казалось, что папа меня не любит. Или же любит, но не так сильно, как покойную маму. Я ревновала его к маме и по-детски на него обижалась, могла даже отказаться от манной каши на завтрак. Или противилась вечерней прогулке — мы гуляли с папой перед сном в любую погоду, при любом морозе. Таким спартанским способом он выковывывал из меня, как он выражался, «здоровую молодую женщину». Потом я поняла, и это было как выстрел, как внезапное озарение: да ведь папа меня боится! Мне и горько, и смешно: как можно бояться собственной дочери?!

Со временем наши отношения стали ровнее, но холодок отчуждения все же остался. Как запах табака в помещении, где не так давно курили...

Итак — вопрос папы: нравится ли мне храм в Лисовичах?

— Конечно, нравится! — уверенно отвечаю я, стараясь казаться взволнованной. Я всегда подлаживалась под папу, под его настроение, то и дело менявшееся, под образ его мыслей. Я понимала, что совершаю грех приспособленчества, но мне казалось, что я должна ему уступать в желаниях и взглядах, довольно, правда, путаных. Это была дань милосердия человеку, жить которому оставалось совсем мало! Кроме того, имитация тождества создавала необходимую для семейной жизни ауру, когда чувство комфорта важнее, чем правда или принципиальность.

Впрочем, иллюзии и тут неизбежны...

Ответ мой и даже самый вид молодой, цветущей девушки смутил папу и разочаровал, хоть он не подал вида. Замкнулся, стал похож на того далекого, молчаливого человека, который рано утром уходит на работу и приходит домой, когда зажигаются уличные фонари...

Мы долго идем с ним молча.

— Как некрасиво, — морщусь я, когда общее молчание становится нестерпимым. — Что это?

В стороне от дороги высилось что-то огромное, серое, грубое, с тяжелым куполом и голым католическим крестом.

— Униатская церковь. Построена недавно, видишь, строительный мусор еще не вывезли.

Об униатах я слышала, но никогда ими не интересовалась.

— Ты мне о них расскажешь?

— Конечно. При случае...

И опять папа погружен в свои мысли и предчувствия. Я понимаю его и не осуждаю, в его положении тяжелые мысли неизбежны. Сделать над собою усилие и переключиться на что-нибудь радостное у него не получается. Я шла рядом с ним и мечтала, чтобы Бог послал ему какое-нибудь занятие, позволявшее забыть о болезни и приближающейся смерти.

Такой случай вскоре представился.

В четверг я заглянула к доктору Войтецкому раньше времени. Папа ничком лежал на топчане, а доктор снимал с него иголки и рассказывал о своих пчелах. Голос у него приятный, ровный — «целебный». Интонации успокаивающие, и я подумала, что в настоящем целителе должны сочетаться два человека: один занимается телом, а другой, как священник, пестует душу.

С восторженными интонациями доктор Войтецкий повествовал о полезных свойствах карпатского меда.

— Карпаты — природная аптека, так задумано Богом, и наш карпатский мед излечивает от всех болезней.

Папа заинтригован:

— Не продадите ли баночку?

— Не продаю, — улыбаясь, качает головой Орест Ярославович. — Качаю мед для себя. А больным предлагаю бесплатно. Приходите в понедельник, баночка с медом будет вас ждать...

Чтобы подыграть папе, я слушаю доктора с напускным интересом. Мед как лечебное снадобье папе не нужен, будь он даже самый расцелебный. У нас в семье мед терпеть не могут. Да и какое чудо может совершить со смертельно больным человеком банка сладкого месива? Но папе приятно думать, что не все еще потеряно и есть надежда на чудесное выздоровление. Значит, имеет смысл побороться с недугом, и я горячо его в этом поддерживаю. Сижую, поддакиваю, советую... Радуюсь, что доктор легко и незаметно внушил ему спасительную мысль о выздоровлении, надо же в жизни на что-то надеяться! Трудиться, добиваться... Вот я и помалкиваю, потому что очень люблю папу.

— Карпатский мед любил император Франц, — просвещает нас доктор. — В Черновцах ему установили памятник, а он и нас не забывал. Приезжал сюда на охоту каждую осень. Леса здесь дубовые, желудей полно, а у диких кабанов это первая пища.

— Любите австрийцев? — смеется папа.

— Что правда, то правда, на них мы не жалуемся. Дискриминации по национальности в Австро-Венгрии не было. Газеты, литература на родном языке — пожалуйста, никто не запрещал.

— Советская власть тоже не возбраняла...

— У нас это ментальное, — покачал головой доктор, закончив снимать иголки и намыливая под краном руки. — От австрийцев такие вещи мы принимали с благодарностью, а от вас, извините, — с ненавистью. И вообще, — заваривая чай и открывая баночку с медом, пожал он плечами. — без Австрии нам как-то скучновато. Угощайтесь!

— Но вы же так стремились к независимости! — удивился папа.

Он взял протянутую доктором чайную ложку и зачерпнул из банки:

— Мед замечательный...

— Видите ли, — помешивая ложечкой в стакане, заговорил доктор. — Габсбурги давали нам чувство величины, чего не могли дать вы, русские. Уж не знаю почему. То ли вам самим ее недоставало, то ли ваша величина казалась нам ненастоящей. Галиция — маленькая страна, мы — небольшой народ. Оскорбить и унижить нас может всякий — и русский, и поляк. Даже когда вы делаете нам добро. Чем больше вы сделали добра, тем сильнее мы бывали оскорблены. А с Габсбургами мы чувствовали себя значительными. Это ощущение не дается независимостью, оно важнее дешевого бензина и собственного парламента. Кстати, — усмехнулся он, — в парламенте Австро-Венгрии были представлены все земли империи, и наших депутатов там было довольно много...

— Что за могилки мы видели у вас вдоль дорог? — поинтересовалась я. — Я обратила внимание, когда мы ездили на Серебристые водопады. Могильные холмики с крестами.

— Крест увенчан веночком?

— Именно так!

— Это памятные знаки. Кресты Свободы. В благодарность императору Фердинанду за освобождение.

— Освобождение?!

— Освобождение от крепостного права. У нас его отменили в 1848 году. На тринадцать лет раньше, чем в России.

— Мы тоже Украина, — заметил папа.

— Украина, конечно, но не такая, — уклончиво улыбнулся Орест Ярославович. — Восточная. В то время вы были Россией...

— Вы до сих пор помните? И возлагаете цветы?!

— Мы благодарный народ, — с достоинством ответил доктор. — Венки наши женщины вяют из живых цветов, а зимой сплетают из бумажных. Люди следят за этим целый год...

IV

Поездка на Серебристые водопады, которую я упомянула в беседе с доктором, настолько нас поразила, что я помню ее во всех подробностях. И буду, вероятно, вспоминать до конца своих дней. Потому что именно с этой поездки в моей жизни начались перемены. Точек отсчета могло быть несколько, но первой и главной было это необычное путешествие.

Поездка в горы — наша первая за две недели, проведенные в санатории, вылазка за пределы «Пролиски». Бегство из тесного и душного, пропитанного запахами лекарств и тревожными мыслями о будущем узилища. Где жизнь напоминает унылое

существование в больнице, а не праздник души и тела. В детстве я несколько раз там оказывалась из-за летних отравлений фруктами. Запомнила жесткий распорядок дня и обилие незнакомых, малоприветных людей.

С другой стороны, санаторий походил на детский оздоровительный лагерь, где режим суровее больничного, а чужих людей гораздо больше. В монастыре, где в конце концов я обрела душевный и телесный покой, я часто вспоминаю мои детские годы — да и всю свою короткую бесталанную жизнь.

Всякий человек думает о себе как об исключительном явлении природы. Одним такая позиция нравится, у других она вызывает досаду. В моем случае было тяжелое, сумрачное смирение. Знак, что еще задолго до моего рождения Некто в общих чертах ознакомил меня с нелегкими условиями земного существования. Он их мне надиктовал, попросив не возражать и не волноваться, если время от времени меня будут одолевать приступы слабости. Такое состояние, по мнению Куратора, неизбежно. С ним нужно смириться и научиться его преодолевать. Все это выглядело как мои отношения с учениками: «Вам трудно? Скучно учить теорию? Хотите резвиться на своих электрогитарах и барабанах? Ради бога! Но то, что вы должны выучить наизусть, — это ваша работа. Человеческая жизнь есть работа. Если угодно, монашеское послушание. Привыкайте к этому смолоду, чтобы не ломать себя в зрелом возрасте...»

Такими примитивными советами я забивала головы моим непутевым ученикам, сознавая, что и сама веду себя не лучше. И, убеждая и воспитывая, уговаривала себя не роптать на собственную жизнь.

...Все же мелкие радости, связанные с нарушением этикета, были мне позволены. Кем, спросите вы? Да все тем же Повелителем, имени которого я не знаю. К Нему я все время обращаюсь в мыслях и чувствую на своей голове его теплую ободряющую руку. Настоятельница монастыря сестра Василина только улыбается, когда я рассказываю ей о наших взаимоотношениях.

«Сестра Мария, вы чересчур поэтичны. Наша вера этого не запрещает, но Господа я просила бы называть Его подлинным именем...»

Она хорошо ко мне относится, мудрая, скорбная и темноликая, как святые на древних иконах, сестра Василина. Мои языческие записки не вызывают у нее неприятия. Чтобы облегчить мне жизнь, она избавила меня от повседневных монастырских обязанностей, признав работу над воспоминаниями частью монашеского послушания. Единственное, что я выпросила у нее для отдыха, это уход за цветами в монастырском саду.

Цветы я полюбила здесь же, в Галиции, впечатление от них одно из самых сильных и радостных.

Богатые усадьбы, небогатые городские и сельские подворья заполнены разнообразной, тщательно ухоженной зеленью. Тут и вездесущие карпатские «смереки», по нашему лиственницы. И дубы, и ели, и традиционная калина. Цветы здесь повсюду: у окон домов, на клумбах и в палисадниках. На заработки галицийцы ездят в Европу и, вернувшись с деньгами, приводят домашний быт в соответствие с европейскими образцами.

Сестра Василина, когда она не занята административными обязанностями, работает в саду вместе со всеми. Смеется: я привыкла трудиться руками, а не головой! Ко мне она относится хорошо: с первого дня в монастыре взялась меня опекать, наставлять и поддерживать. И мне, кому так не хватало материнского внимания, ее забота доставляет большую радость. Как будто заново я переживаю утраченное детство — беспомощное и беззащитное городское дитя, не умеющее держать лопату, не разби-

рающееся в цветах и деревьях. Даже чем кормить домашнюю птицу я узнала только здесь, в монастыре. Хорошей была бы я женой, нечего сказать!

Сестры научили меня всему земному: ухаживать за скотом, доить коров, сажать картофель, пропалывать огород, пасти коз, белить и красить. И только мемуарная работа приостановила на время мои деревенские занятия.

— Закончишь свои записки и вернешься к обычной жизни, — резюмировала сестра Василина, когда объявила, что она освобождает меня от повседневных работ. — Если у тебя дар Божий и хочется выговориться, я возражать не стану, твоей душе станет легче...

Она заботится о моей душе, а тайком думает о своей. Родом она из глухой карпатской деревушки на горной реке Стрый. Весной река широко разливается и бурным потоком стекает в долину. Он-то и унес в злосчастный год и день ее мужа и двоих детей, семи и десяти лет. Дети расшалились возле реки, потоком их сбило с ног. Отец бросился спасать детей, и все трое утонули, их унесло потоком...

Так Катерина оказалась в монастыре и приняла с постригом имя «Василина»...

— Господу угодно было лишить меня семьи, чтобы я почувствовала любовь к Нему, — повторяла она. — Не должен человек любить земное больше, чем Отца нашего небесного, — добавляет она с такой убежденностью, что, горя желанием ей возразить, я лишь опускала глаза и прикусывала язык

Сестра Василина — типичная галицийка. Как все карпатские женщины, она приветлива, гостеприимна, радушна. Готова утешить добрым словом даже малознакомого человека. Чистоплотна и проста, нетороплива и рассудительна. Однажды я оговорила, назвав ее матушкой.

— Матушка у нас — Пресвятая Дева Мария, — сказала она назидательно. — А мы, ее дети, между собою сестры...

Как к сестрам, относилась я и к женскому персоналу санатория «Пролисок», по-украински так называется подснежник. Чудесное это название мне сразу понравилось. Как родное. Иначе я его не называю в моих снах и воспоминаниях, что, наверное, одно и то же. С нежностью и грустью повторяю по слогам — «про-ли-сок», как имя давно умершей мамы...

По стечению обстоятельств мамино имя стало в монашестве моим, за что я благодарна небесному моему Покровителю — да простит меня сестра Василина за такую вольность. Но с другой стороны, совпадение имен обрекает на душевные муки из-за похожести наших судеб. Это не значит, что я тоже умру раньше времени — никто не знает, когда пробьет его час. Но то, что для мира я не существую, — факт неоспоримый. Думаю, что давнее посещение городка Моршин, наша с папой жизнь в санатории, среди вечно сырой от дождей зелени и в заботливом окружении женского персонала, было восхитительной прелюдией. Репетицией, если выразиться языком моей прошлой профессии, нынешнего моего подвижнического существования. Мне нравилось ходить, сопровождая папу, в кабинеты докторов, в манипуляционные и хозяйственные комнаты, если в том была необходимость. Всюду меня встречала икона Пресвятой Девы Марии, обрамленная тщательно выглаженными и украшенными вышивкой рушниками. Однажды я осознала так ясно, словно мне это чувство внушили, что без икон, рушников и улыбок медсестер, напоминавших Пресвятую Деву, жизни для меня уже не будет. У папы после приезда в Моршин даже характер изменился. Он стал мягче, задумчивее, терпимее. И все время я думала: что же с ним такое случилось и чем кончится его молчаливое приготовление к иной, новой жизни?

В санаторной столовой нам определили место возле широкого окна, выходящего на задний двор.

Задним двором пейзаж за окном можно считать только условно. Из хозяйственных построек виден лишь большой, уходивший глубоко в землю подвал с крытой дерном кровлей. Что находилось в самом подвале — величайшая тайна. Ни разу я не видела, чтобы кто-нибудь его отпирал, входил туда или выходил. Но вблизи...

Вблизи него открывается чудесный вид на лесную опушку с великолепным развесистым дубом и стогом сена, посеревшим от дождей и собственной ненужности. Картина выглядела настолько поэтично, что, засмотревшись на нее, я промахнулась вилкой и перепачкала соусом щеку.

Во время дождей, ливших иной раз до двух-трех дней кряду, пейзаж за окном вызывал чувство смирения и некоторую — очень смутную — долю обреченности. Как поздней осенью. Но ведь я уже говорила (или не говорила, не помню...), что если в Италии царит вечная весна, то в Моршине вас ожидает вечная поздняя осень. Вот и папа, время от времени бросавший задумчивые взгляды в окно, тоже думает о чем-то своем. Может быть, об осени. А может, о том, что жить ему осталось совсем мало и нужно что-то сделать, чтобы не было жалко с нею расставаться. Едва ли это возможно, но жажда совершенства неутолима...

V

...С милым (и грустным) пейзажем за окном связано и папино неожиданное восхождение к жизни. Он стал бодрее, улыбчивее, подтянулся внешне и внутренне. Тщательно — два раза в день, чего с ним давно не бывало! — брился. Тщательно повязывал, готовясь к трапезе, новый галстук...

— Завтра за мной на иголки не приходи, — попросил он, когда я стелила ему на ночь постель. — У меня дела, я задержусь...

Какие у него могли быть дела, я узнала в то же утро. Меня так и распирало от любопытства: что же он задумал, ведь папа лишнего шага без меня не сделает!

Наутро я встала пораньше и отправилась в Зимний сад.

Чтобы попасть в столовую из кабинета Ореста Ярославовича, нужно пройти рукотворный оазис с пальмами в кадках, блестящим плющом, тропическими лианами, миниатюрными водопадами и звонко щебечущими и весело перелетавшими с дерева на дерево разнозванными попугайчиками.

Ровно в семь, за два часа до завтрака, в саду появляется Елена, агент экскурсионной фирмы «Львовтурист», яркая блондинка с холодноватым выражением красивого лица. Здесь ее рабочее место. Она хмуро, по-утреннему, кивает, отпирая каморку со своим хозяйством. Вытаскивает и расставляет в коридоре планшеты на ножках с фотографиями исторических и прочих примечательных мест. Перечень экскурсионных поездок — а их огромное количество! — с ценниками и подробным расписанием отъездов и приездов. Включает магнитофон с фоновой музыкой и со скучающим видом опирается о подоконник...

Лена живет во Львове, но девушка она русская. С русскоязычными туристами разговаривает по-русски безошибочно, только интонации у нее мягче, не такие резкие, как у великороссов. С жильцами санатория, приехавшими из Центральной Украины, болтает по-украински, и мне ее плюрализм неприятен, потому что отдает оппортунизмом.

С симпатией и завистью я рассматриваю Елену из своего убежища. Высокая, стройная, с крупными локонами. Модно одета: в дождливую погоду в линялых джинсах и толстой пестрой рубахе, а в теплые дни на ней футболка, каждый раз новой, оригинальной расцветки, и коротенькие джинсовые шорты. Шортики подчеркивают красоту ее длинных, нежно мускулистых ног, и на правой ноге, выше колена, брезжит

синеватое пятнышко. Ноги Елены оно не портит, напротив, придает им милое детское очарование. Я чувствую, что влюбляюсь в ее ноги, спортивную одежду и в нее самое. И ревность тоже чувствую — это она вытащила меня утром из постели и погнала, сонную, в Зимний сад. Женским чутьем я поняла причину папиной торопливости, подспудного желания променять меня на что-то более доверительное, в чем, конечно, он нуждается. И чего дочерняя любовь, увы, дать ему не может...

«А вот и старый ловелас, — не так удивилась, как обрадовалась я. — Собственной персоной».

Папа целует руку улыбающейся, сразу встрепенувшейся Елене. Вдвоем они подошли к обтянутым сероватой бумагой планшетам и принялись рассматривать цветные фото, оживленно их комментируя.

Я не стала дальше глазеть на двух голубков, для понимания ситуации хватало довольного лица папы и оживления Елены.

Я тихонько проскользнула меж двумя пальмами и облегченно вздохнула: уф, они меня не заметили!..

Санаторный народ с жадной торопливостью несся в столовую. Шаркающий людской поток становился гуще, я в нем затерялась и раньше папы приплыла к нашему столу.

Утро было пасмурное. В зале зажгли люстры, лившие тусклый, рассеянный свет. В задумчивости я теребила вилку и ждала, когда официантка принесет завтрак.

Прибежал папа и шумно, с радостным грохотом стула уселся напротив.

— Мы засиделись, дочь! Завтра едем на экскурсию. На Серебристые водопады.

— Это где? — поинтересовалась я, догадавшись, что решение отправиться на водопады навязала папе практичная блондинка.

Но при чем тут я, — хотелось возмутиться мне. Она тебе, а не мне запудрила голову, да еще маршруты навязывает!

Моему негодованию не было предела. Но к концу обильного и вкусного завтрака я успокоилась и укорила себя за дочерний эгоизм: разве можно думать только о себе? Можно, конечно, но не в случае, когда речь идет об отце, он и так всю жизнь себя ограничивал. Старался меня развлекать, чтобы я не чувствовала себя сиротой. И вот теперь моя очередь жертвовать собой.

Я вспомнила папино уныние, безнадежный диагноз, и мне снова захотелось плакать. В конце концов, это наша последняя поездка за пределы родного города. Я обязана во всем ему потакать и не обижаться на его капризы.

VI

... — Ты не ответил...

— О чем ты?

— Куда ты меня собираешься отвезти?

— В Карпаты. Там красиво...

— Поднимайся в номер, я тебя догоню, — приостановилась я в Зимнем саду, когда мы вышли из столовой. Мне хотелось послушать Елену и посмотреть фотографии, которыми она заморочила папе голову. Он смутился, но не подал вида...

Елена важно вещала о карпатских красотах в плотном кольце туристов. Делавших вид, что они рассматривают фотографии, а на самом деле пожиравших ее глазами. С деловым видом отвечала на их идиотские вопросы: «Где это? что это? как это?..» Всеобщее внимание ей льстило. Речь у нее приятная, ничего не скажешь. И Серебристые водопады на цветных фотографиях выглядят убедительно: с зеленой горы низвергается

белопенный поток, омывая блестящие валуны порогов. Счастливые туристы в спортивных костюмах восторженно улыбаются в камеру...

Покосившись на папу, Елена кивнула, и довольная улыбка тронула ее губы...

— Знаешь, мне в горах нравится, — с деланной радостью сказала я, входя в номер. — Водопад как в Африке!

— Мммм... — промычал папа. — Не Африка, но да, красиво.

Чтобы избавить его от угрызений совести, я принялась командовать.

— Воду ты уже пил, капельницы у тебя сегодня нет — мы идем гулять. Ты обещал показать мне источник Богородицы!

VII

Прихватив стеклянный кувшин для воды, я торопливо щелкнула ключом.

Медицинского смысла в наполнении кувшина водой из источника Богородицы, по-местному «Матери Божией», не было. По преданию, его поведал всезнающий Орест Ярославович, вода из источника обладает целебной силой, пока ее пьешь тут же, на месте. Дома она теряет лечебные свойства, превращаясь в обычную питьевую воду. Как, например, вода из источника «Бонифаций» или «Магдалена». Наш «Бонифаций» закончился вчера вечером, и пустой кувшин так или иначе нужно было наполнить водой.

К источнику мы отправились кратчайшим путем.

— Здесь идти неудобно, но быстрее, — предупредил папа.

Окольная тропа, усеянная мелкими камешками, остатками строительного мусора и прочим хламом, была ужасна. Она пролегла меж нескольких уютных, недавно построенных под горные шале особнячков. Один, как я успела прочесть на фасаде, принадлежал Министерству обороны. Ведомственная принадлежность других была неопределенной, и признаков человеческого присутствия я не заметила. В обжитых санаториях на балконе сушатся полотенца, детское и женское белье, и напоминающая сторожевую собаку особа мужского пола в неглиже лениво покуривает, недоверчиво разглядывая прохожих.

Но здесь на балконах никого и ничего не было, и санаторные корпуса производили впечатление недостроенности и заброшенности.

Я ковыляла по неровной тропинке, чертыхаясь, если подворачивала ногу или острый камешек попадал в босоножку.

— Па-а, долго еще?! — канючила я.

— Терпи. Сейчас будет асфальт.

Наконец мы выбрались на более-менее ровное шоссе. Взад и вперед по нему сновали автомобили и брели пешеходы, — разграничить зоны влияния здесь никому и в голову не приходило. К машинам и праздному люду в шлепанцах и с пластиковой тарой под мышкой время от времени добавлялись заплутавшие куры и утки. С переполошенным видом они металась меж колес и ног, и все их старательно обходили и объезжали. Я зазевалась на симпатичного селезня с зеленой шейкой, хладнокровно переходившего дорогу и недовольно побрякивавшего.

Вся эта суета выглядела по-деревенски мило, и казалось, сельская жизнь могла бы вполне меня устроить. Преподавать сольфеджио можно и в глуши, наверняка здесь имеется детская музыкальная школа. Но тут же я отбросила эти мысли как нелепые: а как же папа? И моя родина? И мамина могила? И что-то еще, что понималось неопределенно и смутно, но оно — было, было...

Впереди замычал источник «Русалка». Его так называют из-за огромной тускло-золотой чеканки, изображавшей голую даму с рыбьим хвостом. Из стены торчал кусок никелированной трубы, из которого хлестала ледяная вода.

Папа от Русалки деликатно отвернулся — его приводят в замешательство вещи, которые сегодня не смущают даже детей. Чрезмерное целомудрие папы вызывало у меня досаду, но он — мой отец, и я должна прощать ему все, даже старомодное воспитание.

«Интересно, — размышляла я. — В детстве он меня воспитывал или не воспитывал?..»

Вопрос к самой себе несколько озадачивал: вот я не знаю, воспитывал ли меня мой отец? Мы жили в одной квартире. С детства, с тех пор, как мы переехали на юг, я знала, что этот скучный лысеющий добряк — мой папа. Лет до десяти я старалась во всем ему подражать, даже бриться украдкой пробовала, но, слава богу, не слишком усердно. Подражала его походке — слегка подрагивающей, с ритмичными движениями рук. Походка офицерская, по-мужски красивая и гордая. Меня она не на шутку волновала, ведь красота, как у Форсайтов, у меня всегда была на первом месте. Вероятно, оттого, что сама я некрасива и рано научилась ценить красоту. Как и музыку — воплощение всего прекрасного, — ох, какой же я произвела штамп!..

Но с возрастом, не знаю, откуда это взялось, меня обуяло жуткое критиканство. На все, что делает и говорит папа, я отвечала категорическим «нет!». Ему нравились Галина Вишневская и музыка Чайковского, а я заявила, что люблю битлов, хотя на самом деле терпеть их не могла. Он любил русские щи, а я в пику ему — украинские вареники. Надо отдать ему должное: папа превосходно готовил оба блюда. Когда мне исполнилось шестнадцать лет и предстояло получить паспорт, я поинтересовалась, что мне написать в графе «национальность».

— Странный вопрос, — пожал он плечами. — Пиши, как есть: «русская».

Но у меня свое мнение:

— Живем на Украине, значит, я — украинка!

— Украинка Бибикова? Звучит курьезно, — хмыкнул он.

Но мне было безразлично, как это выглядело, лишь бы опять вышло по-моему. Как и в других наших стычках, — за годы моего взросления их накопилось столько, что я потеряла им счет. Зато теперь испытываю стыд за свою детскую глупость и самонадеянность. Сколько раз я ставила папу в неловкое, даже тяжелое положение! Ты не согласен и чувствуешь свою правоту. Но чтобы не ссориться, вынужден уступить ребенку. И папа всегда и во всем мне уступал, чтобы я не сердилась и не отстаивала очередную глупость. Не наливалась злобой и не портила свой и без того неровный характер. Однажды в душе поселившись, злоба оттуда уже не выйдет. Умный, тонкий папа не хотел иссушать меня бессмысленными претензиями. Всему свой черед: когда-нибудь я поумнею и признаю его правоту. Но иной раз он нет-нет да и произнесет с осуждением в адрес молодого поколения ставшую привычной, как его залысины, тираду:

«Девушки в мое время зачитывались стихами Блока, пили шампанское, а не пиво, как нынешние девы, и замуж выходили по любви, а не по расчету. Или просчету...»

Я смеялась и даже не пробовала с ним спорить, только себе хуже сделаешь! Но фразу о замужестве по любви запомнила раз и навсегда ...

Возле «Русалки» толпилась очередь, но к этому источнику воды нам не надо. Я разглядела дату ее исполнения: Пятьдесят шестой год. Год рождения папы. Дата такая же ветхая, как и венгерская революция, о ней я читала в Википедии. Папа родился в октябре, и в этом же месяце началось восстание в Будапеште. В цифре «56» мне чу-

дилось что-то ужасное, как будто те давние события касались меня лично. Когда я приставала к папе с расспросами, он отнекивался или заговаривал о другом:

- Девочкам это знать необязательно.
- Kitchen, Kirchen, Kinder?
- Вроде того, — улыбается он.

Но все равно я узнала правду. От Оли Нестеренко, моей школьной соученицы. Ее дедушка участвовал в подавлении будапештского восстания и рассказывал о нем жуткие вещи. Олины рассказы о зверствах повстанцев и боях в городе я запомнила на всю жизнь...

- Сделаем крюк, — предложил папа. — Там есть кое-что интересное...

Я знала его привычку удивлять.

...«Кое-что» находилось в парке Мраморного дворца.

Крюк был невелик. Папа не успел меня предупредить, но я сразу поняла, в чем дело. Едва мы подошли к фасаду с нелепыми на конструктивистском фоне скульптурами Аполлона и Деметры, на нас обрушился громкоголосый птичий пересвист. В сетчатом вольере, окруженном старыми, развесистыми дубами, носилась мелкая живность, и пели птицы.

- Чудесно! — заулыбался папа.

Я тоже залюбовалась.

В мутном озере с водопадом проплывали золотые рыбки. В тенистом водоеме, имитировавшем сельский прудик, бултыхались утки и франтоватые селезни. Птицы весело плескались, перепрыгивая через мелкие искусственные пороги. Маленький мир, полный радости и довольства. Как это не похоже на наше угрюмое и скучное существование! Мне кажется, всему виной наша глубина, только отказавшись от нее, и можно по-настоящему быть счастливым! Порывистые подозрительные кроты выныривали из норок, судорожно втягивали воздух и, учуяв опасность, мигом исчезали в своих подземельях. На солнечном припеке, притулившись к деревенскому тыну, спали, дрожа, как в лихорадке, толстые кролики, сложив на спине лопаточки длинных ушей. Меланхолично поклевывали сорную землю фазаны. На веточках искусственного деревца ворковали белоснежные голуби, и по двору важно разгуливал павлин с зонтиком на внимательной головке. Время от времени он издавал резкие звуки, я испуганно вздрагивала, и папа смеялся:

- Он грозный только снаружи, а на самом деле безобидный. И глупый...

— Когда он распушит свой хвост? — по-детски теребила я папу. — Я хочу на него посмотреть!

- Павлины распускают хвост в особых случаях.

— Во время брачного танца?

— Не распускать же ему хвост перед тобой?

— Передо мной никто еще не распускал свой хвост!

— У тебя все впереди, — смеялся папа. — Пообщались с миром природы, и хватит, — стал тянуть он меня домой: сучает по своей блондинке.

Но мне уходить не хотелось, такая безмятежность царила в этом маленьком, уютном Эдеме. И в ней, этой безмятежности, не было места ни блондинам, ни брюнетам. В душе что-то отдыхало и подрагивало, как во время долгого, счастливого сна...

VIII

Часовня была невелика, в ней могли поместиться три-четыре человека, остальное пространство было заставлено инвентарем. В дверях, только что отворенных при-

шедшим священником, бритым и в черном сюртуке, виднелись вазы с живыми цветами. Вазы поменьше стояли на подставках возле икон — иконы здесь были повсюду. Они блестели золотом и серебром, и в подсвечниках золотились лепестки пламени от только что зажженных свечей.

Торопливо перекрестившись, в часовню вошла женщина средних лет, вся в черном, а за нею молодой человек в синей куртке. Входя, он бросил на меня любопытный взгляд — черные живые глаза блеснули — и скрылся внутри. Был он смугл, лицо свежее и приветливое — это все, что я успела разглядеть. И забыть. Потому что мы уже пришли.

От часовни к лесу тянулась куртина бледно-голубых орхидей, и в конце высился заросший дубами и липами невысокий холм. В окружении старых, мшистых деревьев аляповато смотрелась крашенная фигурка Девы Марии, а вокруг нее — бумажные венки, букетики увядших цветов...

Мы постояли возле нее в смущении...

Дева Мария смотрела на нас и — мимо нас. Лицо бездушное, даже глуповатое. Как на любительских картинках. И ничего не выражающее. Сзади тихо плескал родничок, а мы стояли, не решаясь подойти и напиться, как будто ждали приглашения.

— Вот здесь все и произошло, — сказал папа задумчиво. — На месте, где расположена часовня, в старину стояла деревушка. Совсем маленькая, несколько дворов. Девочка лет десяти пасла в лесу коз, когда ей явилась Дева Мария. И сказала: «Здесь будет бить целебный источник. Пойди и скажи людям». Топнула ногой и исчезла.

В том месте, где Она стояла, забил ключ. Девочка побежала в деревню и рассказала о необычном явлении удивленным родителям. Пришли люди, неторопливые и недоверчивые. Смотрели на бьющий из-под земли источник, дивились...

С тех пор когда в деревне кто-нибудь заболел, его приводили к источнику Богородицы. И пошел в народе слух, что вода из источника исцеляет...

Мы еще немного постояли возле источника, помолчали. Потом и сами напиться воды. У меня ничего не болело, пить целебную воду не было необходимости, и два-три глотка я сделала для того, чтобы соблюсти приличия. Глупо приходить к месту паломничества, чтобы уйти отсюда пустой...

Папа тоже сделал глоток. Воду пить ему не хотелось, в целебную силу родника он не верил, и я видела, что он всего лишь исполняет долг путешественника. И безнадежно больного человека, которому положено испробовать все возможные и невозможные средства исцеления.

Потом папа вслух прочитал надпись на планшете возле родника. Написано было по-украински, и то и дело он съезжал на русский язык:

«Возлюбленный Господь, дай нам силу принять со спокойствием обстоятельства, которые нельзя изменить. Дай нам мужество изменить обстоятельства, которые могут и должны быть изменены. И дай нам мудрость отличать первые от вторых».

И подпись: митрополит Климентий Шептицкий.

— Шептицкий — это кто? — спросила я.

— Местный «душпастырь». Так они называют своих иерархов.

— Странные слова у источника надежды. Пессимистичные...

— О словах ничего сказать не могу, но этот текст я знаю. Читал его по-английски в романе русского писателя-белоэмигранта.

Папа сказал «э-э...», вспоминая, и добавил:

— В романе это изречение приписывается адмиралу Харту.

— Это кто? — повторила я вопрос, страдая от собственного невежества. Папа, когда хотел, мог уронить в его глазах самого просвещенного собеседника. Я подозре-

вала, что мой родитель не так прост, как кажется, но у меня не было намерения разбираться в тонкостях его натуры. Собственный внутренний мир казался интереснее и мучительнее, и все силы души я отдавала самой себе...

— Адмирал Харт, — вздернул брови папа, — во время Второй мировой войны командовал Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов. Воевал в Юго-Восточной Азии.

— Не слишком ли он философ для военного?

— Возможно. Но я не понимаю, почему галицийцы приписали это изречение своему митрополиту? Или напротив: слишком хорошо понимаю...

— Почему же? — Меня, как в детстве, охватило желание спорить. — Может, ты ошибаешься? И текст действительно принадлежит «душпастьрю»?

— Не ошибаюсь. Галицийцы — великие эклектики, и за неимением своего они часто присваивают чужое...

Я не стала ему возражать. Мне казалось, что папа сгущает краски и напрасно обижает здешний народ, — мы плохо его знаем и не должны судить его слишком строго. Но я видела, что папа раздражен, а мне не хотелось с ним препираться. Когда папа спорит, он может наговорить много обидных слов.

Молча мы шли вдоль куртины с орхидеями.

Из леса тянуло запахом цветущих лип, на теннисном корте мелькали игроки в бейсболе, слышались упругие удары ракеткой по мячу и радостные возгласы победителей. Все дышало теплом и покоем, и я подумала, что Божий мир бесконечно прекрасен, но мы портим его своими требованиями и претензиями...

Впереди я увидела знакомого черного священника из часовни и черноглазого юношу в синей куртке. У поворота к Мраморному дворцу они остановились, священник что-то тихо ему внушал, а юноша слушал его, смиренно опустив голову. Священник улыбнулся, положил руку ему на плечо и, попрощавшись, повернул обратно. Юноша обернулся и, увидев нас, поспешил к бювету минеральных вод...

Остаток дня прошел медленно и скучно. Я провела его в номере, пытаюсь читать стихи Волошина, но его парижские циклы оставили меня на этот раз равнодушной. Папа сказал, что вечером он хочет развлекаться, и я совсем закапризничала. Знаю я, с кем и как он будет развлекаться...

Днем я недолго спала и, проснувшись, тихо лежала, положив книгу на грудь. Обдумывала свое настроение, оно становилось все мрачнее.

— Развлекись, — сказал папа, озабоченно хмуря брови. — Сидишь в четырех стенах, как царевна Несмеяна. Сходи на танцы, здесь по пятницам танцуют.

Нашел чем удивить. О танцах по пятницам я знала и без него. Доносились по вечерам оглушительная музыка, от которой сотрясаются стены. Я презрительно морщилась: только читать мешают! Старинная Галиция, ею я исподволь наполнялась, как сосуд целебной водой, и современная музыка не связывались в одно целое. И папа, ненавидевший, как и я, грубые развлечения, никогда прежде на танцы меня не провоживал. Значит, подумала я, опять наострил лыжи к своей блондинке.

Иногда перед выходными днями, когда процедур в санатории не было и публика была предоставлена самой себе, Елена задерживалась допоздна. Билеты на экскурсии были нарасхват, она их продавала даже после ужина. Ночевала она тут же, в тесном чуланчике, выделенном администрацией. Однажды из любопытства я туда заглянула. Елена вышла наполнить чайник, и дверь в каморку оставила распахнутой. Узкая кровать и тумбочка, как в больнице, занимали мало места. Остальное пространство было заполнено старыми, с треснувшей бумагой, планшетами, в углу громоздились запас-

ные стойки и торчала старая вешалка с ржавыми рожками. Косметичка на тумбочке вызвала приступ ревности и горечи. Как было бы хорошо, если бы эта вещь имела отношение к маме! Мне остро ее не хватало, и я едва сдерживала слезы...

— Вам что-нибудь нужно?

Она смотрела с явной симпатией. Глаза излучали добро и готовность помочь. Я смешалась и, наверное, покраснела, потому что, включив чайник в розетку, она вытерла руки и улыбнулась.

— Если нужна экскурсия, могу предложить тур по местам Олексы Довбуша. На воскресенье билеты еще есть.

— Спасибо за хорошее предложение.

Она снисходительно улыбнулась:

— Приходите, билет я вам оставлю. Или — билеты?

— Не знаю, — растерялась я. — Я подумаю...

— Подумайте. Только поторопитесь: на субботу и воскресенье у нас большой спрос.

— Спасибо, я учту...

И стыдливо, чтобы она не заметила моего смущения, я заторопилась в номер.

...Папа гладил взятым у кастелянши утюгом свежую рубашку.

— Сам справлюсь, — помотал он головой, когда я предложила ему помочь. — Ты же знаешь, после мамы я все делаю сам.

Упоминание мамы показалось мне неуместным. Думать об умершей жене, собираясь на свидание с другой женщиной? Я тихо возмущалась, но потом поняла, что лучше на папу не сердиться. Иной раз в уме творится такая чехарда, что не знаешь, как из нее выпутаться. Другая женщина должна была напомнить папе умершую жену. И забытые ощущения, так что ничего недостойного в его поведении, в сущности, не было.

Я выгораживала папу, потому что у меня самой рыльце в пуху. И твердо решила, что обязательно пойду вечером на танцы, хотя с детства их ненавижу. Танцую я плохо и холодно — вдобавок к прочим моим «достоинствам». Мужчины приглашают меня редко, да и то лишь потому, что всех красавиц уже разобрали...

IX

Было еще светло, когда диджей, молодой вихрастый паренек, включил на крылечке заднего двора громкую музыку. Она должна была оповестить робко теснившихся поодаль девушек и лениво покуривавших молодых людей о начале танцевальной эпопеи. Хотя древнее это слово тут совсем некстати. Ничего эпического на задних дворах не происходит, если не считать смерти в Угличе царевича Димитрия и стычки д'Артаньяна с Рошфором во дворе гостиницы «Вольный мельник» по дороге в Париж.

Каким образом здесь танцуют и под какую музыку, стало понятно, как только я появилась. Из мощных усилителей грохотало что-то вульгарное и допотопное. Даже ветхозаветную «Аббу» вспомнили — с репертуаром времен молодости покойной мамы. На натоптанной множеством ног земляной площадке самозабвенно скакали дети, а взрослые теснились в сторонке, ожидая, когда стемнеет. На опушке под елями толпились местные парни, среди них я увидела утреннего знакомца. Молодой человек в синей куртке, улыбаясь, что-то рассказывал юноше с усиками, а тот слушал его рассеянно и нетерпеливо.

Музыка продолжала валить наповал. Я скучала среди стоявших в сторонке молодых женщин, живо обсуждавших весь этот музыкальный грохот и посмеивавшихся над забавными ужимками диджея. По-ученически старательно и неправильно он выговаривал иностранные названия и по-детски однообразно приглашал на быстрый

танец и на медленный. Мальчик явно не отличался раскованностью и богатым словарным запасом...

Быстро стемнело. Как всегда в лесу, в сумерках стало прохладно и сыро. Я зябко ежилась в теплой кофте, и больше всего на свете мне хотелось уйти в номер, приготовить чай и раскрыть книгу. Но тут я вспомнила санаторную комнату с перегоревшей настольной лампой — заменить ее было невозможно, так как у кастелянши закончился рабочий день, — и хотелось завывать от тоски. Читать при тусклой верхней лампочке — только мучить себя, а ложиться спать еще рано. Оставалось таращить глаза в смутно белевший в темноте потолок и глотать душившие меня слезы...

— Не хотите потанцевать? — подошел парень в синей куртке.

— Ради бога... — пробормотала я.

— Вы о чем-то думали?

— О том, какой неуклюжий у вас диджей. Манерами и музыкой он распугает всю клиентуру.

— Не распугает, клиентура привыкла, — засмеялся он. — Меня зовут Тарас. А вас?

Получилось в рифму и потому смешно.

Что ж, классическое украинское имя. Правда, не совсем галицийское. Тарас — это уже слабое веяние востока. Или центра... Или где у них еще расположено национальное гнездо?..

Ладно, какая разница, Тарас или Олекса, вспомнила я доблестного борца за народное счастье.

— Вы бывали на скалах Довбуша? — поинтересовалась я, делая вид, что не замечаю движений его руки; он крепко держал меня за талию, а потом ладонь, будто невзначай, скользнула вниз. Не радикально вниз, а — чуть-чуть. Так что можно было не сердиться и сделать вид, что тебя интересуют карпатские древности.

— Скели Довбуша? — удивился он. — Конечно! Я везде бывал, Карпаты — мой родной дом.

— Тогда расскажите. Что за чудо света ваши «скели Довбуша?»

Танец был медленный, как я люблю. Можно было не напрягаться и делать вид, что ты танцуешь. А на самом деле колыхаться в объятиях партнера, как в лодке при полном безветрии.

— Ничего особенного, огромные камни. Но им больше семидесяти миллионов лет! Друзья Довбуша наловчились быстро по ним перебегать, и никто их не мог изловить, ни полиция, ни солдаты. На его поимку была брошена целая армия, — с гордостью поведал местный апокриф Тарас. — Так как полицейские были не в силах справиться с его отрядом.

— Вижу, он вам нравится...

— Конечно. Он хотел добра простым людям и не любил богатых. За это его уважали. И еще за смелость и хитрость.

— Я слышала легенду, что он жив и скрывается в Манявском скиту?

— Нет, конечно, — засмеялся Тарас. — Но народ в это верит. Верит, что Довбуш всегда придет им на помощь. Нужно только приложить руки к губам и позвать. Вот так...

Он сложил ладони рупором и шепотом проговорил: «Олек-са-а-а!»

— Вы испугались? — удивился Тарас.

— Там, в лесу... зашелестели кусты. Как будто кто-то ходит...

— Пустяки, это ежачок.

Неуравновешенный диджей запустил диск с песнями Рикки Мартина. Темп у них был бешеный, и я вежливо отстранилась:

— Давайте отдохнем...

— Может, погуляем?

Предложение слишком желанное, чтобы от него отказаться.

Мы углубились в санаторный парк.

Стало совсем темно, я дрожала не так от холода, как от волнения. Тарас набросил на меня куртку, она хранила тепло его тела. Я успокоилась, и полусонная одурь овладела мной, как снотворное.

— Сейчас будет дубовая аллея, — сказал Тарас, когда мы пошли с ним в полной темноте и под ногами у нас похрустывали мелкие камешки. — А за аллеей будет озеро и охотничий домик.

— Вы хорошо видите в темноте.

— Я тут с детства все знаю. Найду с закрытыми глазами.

По дороге к озеру Тарас рассказал о себе. Он студент Львовской политехники, факультет информационных технологий. Учится дистанционно. Надо помогать матери: отец болен, туберкулез, и работать он не может. Застудил легкие в молодости, большого значения простуде не придавал, вот его и осложнило. На всю жизнь...

— Климат у нас сырой, — с грустью рассказывал Тарас. — Тато все время простуживается. И с каждым годом вылечить его становится все труднее...

Мне тоже стало грустно, как будто Тарас заговорил о моих собственных заботах и печалях.

— Утром в часовне вы были с женщиной. Это ваша мама?

— Да, я был с мамой. Сегодня сороковины маминого брата. Дядя Стефко тоже умер от болезни легких.

— Как у вас все сложно, — вздохнула я. — В том числе и с легкими...

А сама подумала: и с тем, что в сороковины дяди Стефка мы с Тарасом встретились и познакомились. Это могло быть дурной приметой, но могло и не быть. Мало ли людей встречаются, когда другие умирают...

— Что вы хотите, — вздохнул Тарас, и в его голосе я почувствовала вину. — У нас постоянно идут дожди. Сыро. Я мечтаю о тепле, хочу жить на юге, но у меня не получается. Вот окончу университет и перееду жить к вам. Вы ведь южанка, я по загару вижу, — пошутил он.

У меня забилось сердце, как будто мне сделали предложение. Я боялась верить предчувствию и подумала, что, конечно, фраза о переезде — чистая случайность. И упрекнула себя в нежелании верить очевидному. Ведь совпадения случаются там, где они совсем не случайны...

Х

Утром чуть свет меня растолкал папа. После вечерней прогулки — в номер я вернулась после двенадцати, хорошо, что дежурный охранник не успел запереть входную дверь — я спала как убитая.

Папа пришел позже меня. Я не слышала, как он раздевался и укладывался. Засыпая, я подумала, что у папы, наверное, сегодня первая брачная ночь. Мне не было ни горько, ни обидно. В моей жизни появился Тарас, и я готова прощать любовные похождения всем и каждому. Со спокойной душой я уснула, радуясь за себя и за папу.

Когда утром он прокричал бодрим голосом: «Рота, подъем!», я не стала, как обычно, спросонья ныть, выклянчивая лишнюю минутку для сладкой дремы. Радостно открыла глаза, радостно потянулась...

Одним живым махом папа отбросил тяжелую штору, и в комнату хлынуло яркое летнее солнце. «Как дома», — весело подумала я, чувствуя, что вместе с солнцем и вос-

поминаниями о вчерашнем вечере в душу вливается что-то новое и чудесное. Торопливо умывшись и натягивая кроссовки, я поняла, что моя утренняя легкость — не что иное, как признак начинающейся любви. Она пришла неожиданно и совершенно беспочвенно. И еще меня радовала поездка на — какое чудесное название! — Серебристые водопады. Как будто всю жизнь я мечтала о ней, и вот — моя мечта осуществилась! Конечно, мне бы хотелось поехать на водопады с Тарасом, а не с папой, но я не знала, как отказать отцу и уговорить Тараса... Да и поздно уже! Или вдруг Тарас не захочет, он тысячу раз видел эти пейзажи! И вообще, с чего ты взяла, что ему с тобой интересно, одна встреча еще ничего не значит. А если он согласится, то как отказать папе?

Короче, складывался лабиринт, из которого я не видела выхода. И, как назло, напрашивались сразу две поездки — на водопады и в Манявский скит, где, по народному поверью, скрывается «бессмертный» Олекса Довбуш с его опришками...

...О ските я узнала от библиотекарши из санаторной библиотеки, куда заглядывала в дождливые дни полистать книги и старые журналы.

— Что это за скит, о котором все говорят?

— О, пани не бывала в Манявском скиту? Вы много потеряли! Это святое место, очень древнее, — не скрывала она восхищения.

— Такое странное название!..

— Ничего странного, — улыбнулась Ганна. — В народе его зовут «Манявой». От слова «манить». То есть место, приманивающее путника. Святые отцы называют его Местом Спасительного Одиночества. Там никогда не бывает много людей, не считая, конечно, паломников. Но эти приходят и уходят, а в монастыре живут единицы, кому одиночество в радость...

Ганна опять смущенно улыбнулась и недоверчиво на меня взглянула: понимаю ли я ее? Не насмешничает ли над нею приезжая гостья? Милое круглое личико Ани — личико простой крестьянской девушки, по воле случая дни напролет проводившей среди потрепанных книг и журналов, — выражало такую грусть, что я решительно облокотилась о библиотечную стойку. Всем своим видом показывая, как интересно мне ее слушать.

Пройдет лето. Наступит осень, потом холодная, снежная зима. Санаторий закроют до следующего сезона, и весь персонал — повара, кухонные работницы и официантки, врачи и медсестры, рабочие котельной, сторожа, охранники и садовники — вернутся в свои жилища, как дикие животные в лесные убежища. Чтобы с наступлением весны, покончив с зимними делами, взяться за хорошо знакомую летнюю работу. Санаторным промыслом жители полудикой, живущей копеечными доходами Галиции обеспечивают себе будущую пенсию и мелкий, но гарантированный заработок. Так будет и с Ганной, думала я. Вернется она весной к своим санаторным книжкам и журналам, не прочитав за зиму ни одной свежей, ни одной новой. Длинной, холодной зимой изо дня в день будет заниматься тем же, что и ее соседки. Из овечьей шерсти местные женщины выделывают на продажу меховые жилеты, теплые валенки, вяжут носки и зимние шапочки. Мужчины заняты изделиями из дерева: крепкой карпатской лиственницы, дуба и граба. Летом с мрачным видом, как и подобает жителям лесов и гор, они восседают на галерее бювета со своим деревянным скарбом — расписными шкатулками, топориками с длинной — и тоже расписной — ручкой, деревянными пахучими бусами, скалками, разделочными досками, домоткаными коврами... Такого обилия изделий ручного промысла я в жизни не видывала! И воображала, как это все придумано и изготовлено с большим тщанием и любовью в глухом зимнем селе — в месте спасительного одиночества. Только в одиночестве и можно создать что-нибудь путное, — подумала я.

— Что это за место такое, что оно считается священным? — спросила я у Ганны. — Дело наверное не только в одиночестве?

— Люди давно считают это место святым, — кивнула она. — Еще со времен князя Казимира. Его облюбовал один благочестивый пан, Иов Княгининский. С юности монах-аскет, он жил на Афоне Греческом и задумал создать наш, украинский Афон в Карпатах. Место выбирал по воде. Святая вода должна быть тяжелая, как в Киево-Печерской лавре. Такую воду святой Иов нашел у Блаженного камня. Блаженным его стали называть после, — поправились Ганна, — когда начались чудеса. Надо только дотронуться до камня, и удача тебя не покинет. Сюда приходил князь Даниил Галицкий — помолиться и омыть себя святой водой перед битвой с Ростиславом Черниговским, зятем венгерского короля и претендентом на галицкий трон. А во второй раз он приехал сюда накануне битвы с литовским князем Миндовгом, когда решалась судьба Галиции — будет она под Литвой или останется независимой...

— Говорят, в этих местах до сих пор скрывается Олекса Довбуш...

— Да, люди так считают, — засмеялась Ганна. — Сказка, конечно, никто так долго не живет. Даже самые святые и праведные. Но вы же знаете, переубедить людей очень трудно. Олекса — народный герой, вроде английского Робина Гуда. Жил с друзьями в лесу, в самом дремучем месте. Они подстерегали проезжавших австрийцев и отбирали у них деньги и драгоценности. Немного оставляли себе, а остальное раздавали бедным. Люди рассказывают, что Олекса не умер и не был взят австрийцами в плен, а затаился высоко в горах. Да, у нас его до сих пор чтут, — кивнула Галя. — Некоторые видели его в Манявском скиту и Пресвятую Деву Марию видели. У Блаженного камня. Целых два раза... И потом, знаете, — вздохнула наивная моя собеседница, — в Маняве многие скрывались от преследования. Гетман Иван Выговский... Когда он поссорился с Москвой, то уехал в Маняву. Прятался здесь от польского короля и царя московского. Так в скиту и умер. И никто до сих пор не знает, где его могила. По преданию, он похоронен в стене церкви Святых Бориса и Глеба. Но неизвестно, в какой именно. Много раз власти решали приступить к поискам, но чтобы найти гетманскую стену, надо разрушить всю церковь. На это святотатство так никто и не решился...

Ганна помолчала, задумалась и стала грустно-грустно перебирать книжки. Я поняла, что продолжать беседу она не хочет, так сильно переживает. То ли опечалена жизнью и кончиной злополучного гетмана, то ли судьба родного края навеяла ей грустные мысли...

О Манявском ските, кроме Ганны, я слышала еще от богомольных санаторных женщин и всерьез подумывала о поездке туда. Уговорить папу будет несложно: он с радостью исполнит любое мое желание. Как добрый волшебник из детских сказок.

— Когда ушла мама, я дал себе слово ни в чем тебе не отказывать...

Мне казалось, что говорит он это не для меня, а для собственного спокойствия. Или — что тоже нельзя исключить — для мамы. Папа уверен, что оттуда она с беспокойством и тревогой наблюдает за нами, радуется нашим успехам и печалится, когда у нас случаются неудачи.

Но тут опять меняется декорация: вместо папы я хотела бы взять в спутники Тараса, и как мне теперь быть, я не знаю. Хочется поехать с Тарасом и жаль бросить папу...

Нет, лучше оставить все, как есть, вздохнула я. Сначала Серебристые водопады, а потом что-нибудь придумаем...

XI

На шоссе у административного флигеля уже ждал малолитражный «фольксваген» цвета «металлик» и топтались полусонные экскурсанты.

— Двоих не хватает, — пересчитав присутствующих, заявила экскурсовод Лариса Васильевна, немолодая женщина в очках и просторном балахоне. На ногах легкие тапочки, через плечо — холщовая сумка-планшет. Все просто, легко и необременительно, как раз для путешествий в горы. — Ждем пять минут и отправляемся...

Подождали. Никто так и не пришел. Тронулись. Утренняя дымка рассеялась, и солнце медленно выкатилось из-за леса.

Едем сначала широким шоссе, обсаженным старыми, густыми дубами. Утренняя пустота и стройные ряды деревьев напоминали аллею старинного парка.

— Раз-раз... — заскрежетал микрофон Ларисы Васильевны. — Уважаемые туристы, мы отправляемся к жемчужине Карпатских гор — Серебристым водопадам. Места, по которым мы проезжаем, принадлежали польскому магнату графу Голуховскому. Граф был набожный человек и много жертвовал церкви. Справа вы видите, — указала она на проплывавший за окном, возле поросшей лесом горы, большой деревянный крест — монастырь сестер-василианок. Монастырь основан в восемнадцатом веке, и граф содержал его на свои средства...

Я проводила взглядом белые стены и зеленую кровлю женской обители, даже не подозревая, что скоро она станет моим пожизненным пристанищем. Я никогда не придавала значения символам, не придаю и сейчас. Но первые уколы судьбы я ощутила во время поездки во Львов, папа настоял, чтобы мы непременно ознакомились с этим городом.

— Проникаться Галицией нужно отсюда, — как всегда, кратко сформулировал он.

— Припасть к истокам?

— Вот именно...

С кучкой туристов мы полдня бродили по городу. Тут-то папа и рассказал об униатах — греко-католической церкви. И о церковной Унии 1596 года, от которой и пошло название конфессии.

Старинный Львов меня очаровал, мне казалось, я в нем родилась. Что-то близкое чудилось в каждом переулке, каждом доме, помнившем рыцарей и королей, кардиналов и пап, торговцев и монахов. Храмы и монастыри здесь теснились на каждом шагу.

Мы долго стояли перед собором монахов-бернардинцев.

— Представляешь, — удивлялся папа. — Его построили в ту пору, когда городским старостой был Юрий Мнишек, отец Марины!

С восхищением мы рассматривали кирпичики старинной кладки, детали средневековой брусчатки. «Ах, как красиво!» «Ах, как благородно...». В старинных экстерьерах я чувствовала себя красавицей полькой, на которую заглядываются прохожие и потенциальные возлюбленные. Молодые и старые, щеголи и скромники, женатые и холостые. И зажмуривала глаза, чтобы удержать в воображении картины прошлого, так мне хотелось, чтоб они стали моим настоящим!

...Обедали мы на террасе летнего ресторанчика «Вежа крамарив». Милая девушка-официантка в зеленом передничке принесла только что изжаренную отбивную, овощной салат, красное вино и кофе. Я ела и пила с неторопливостью человека, наслаждающегося теплым днем, вкусной едой и обилием прекрасной архитектуры. Все вместе создавало иллюзию недостижимого, почти райского существования.

— Никогда не думала, — призналась я папе, — что можно быть счастливой в прошлом...

ХII

Перед тем как выехать за городскую черту, автобус сделал остановку у собора Святого Юра. Тут произошло еще одно событие, похожее на предзнаменование, черновой набросок недалекого будущего...

— Этот храм — униатский, — сказал папа, когда мы подъехали ближе. — Видишь, он почти за городом. Поляки запрещали униатам возводить храмы в черте города, их и хоронили отдельно от католиков. Униатов не принимали православные, их не принимали католики... Вот такая промежуточная конфессия...

Мне жаль было неудачливых униатов, но я промолчала. Неприятно, конечно, что они — изгой. Мысленно я наделяла их мыслимыми и немислимыми достоинствами, благо прекрасная архитектура тому способствовала.

Историю создания и многовекового существования собора Святого Юра поведала всезнающая Лариса Васильевна. Основателем храма считается сын Даниила Галицкого, князь Лев. Легенда рассказывает, что юный Лев пожелал отправиться в лес на охоту. Ночью ему приснился странный сон. Снилось, что во время охоты на него напал огромный огнедышащий змий. Князь, не раздумывая, вступил с чудовищем в схватку. Когда его силы были на исходе, на небе воссиял невиданной силы и яркости свет. В золотых латах и красном римском плаще на землю сошел небесный воин Георгий Победоносец на белом коне. Ударом меча святой поверг змия наземь и вознесся в небеса так же внезапно, как и появился...

Потрясенный необыкновенным сновидением, князь Лев поклялся, что возведет на лесистом холме, где он бился с чудовищем, храм в честь Георгия Победоносца...

Табличка у входа извещала, что первый храм этого имени построен князем Львом в 1280 году. Когда же Галицией завладели поляки, король Казимир Великий велел сжечь русское городище и построил на его месте новый город европейского типа. Вместе с городом был уничтожен и деревянный собор Святого Георгия. В нынешнем виде он возведен в 1780 году...

Поначалу собор показался совсем невеличественным. Не новым и не свежим, расположенным неудобно, на склоне бывшей когда-то крутой горы. Все время себя чувствуешь не то падающим на спину, не то преодолевающим препятствие. Во дворе выпрашивают подавание толпы нищих и юродивых, и я приуныла: реабилитация униатства в моих глазах выглядела чересчур поспешной...

Внутри храма сумрачно и гулко. Служба закончилась, свет пригасили, и две-три свечи догорали перед алтарем, источая сладкий аромат. В их слабом свете я с трудом разглядела храмовую святыню — почерневшую от времени и копоти чудотворную икону Девы Марии. И вот тут-то я впервые ощутила прелесть и роскошь униатства!

По стенам в круглых медальонах написанные маслом портреты униатской знати в полурусских-полупольских одеяниях: тяжелые шубы с собольим воротником, меховая шапка с павлиньим пером, как на старинных изображениях Богдана Хмельницкого, густые усы. Некоторые в дорогих польских кафтанах, выражение лиц горделивое, надменное. Это лучшие люди униатского Львова — богатые купцы и промышленники, бояре и шляхтичи литовско-русского происхождения, прославившиеся богатством, усердием в вере и щедростью в церковных дарах. Благодаря их попечительству собор выстоял и окреп на протяжении многих столетий. Я рассматривала медальоны и думала об униатской знати и простых людях, приходивших сюда со своими бедами. Умилилась тишине и аскетизму внутреннего убранства, этот храм видел столько страждущих лиц! Теперь к ним добавилось и мое лицо, моя мучающаяся сомнениями душа...

В тишине бродим с папой по пустому храму. Говорить не хочется, да и не о чем. Даже шепотом переговариваться грешно. Стоим, вздыхаем...

Лариса Васильевна исчезла в церковном полумраке, и на минуту я почувствовала себя брошенной. Меня обуял страх: как я уживусь с этими людьми, этим храмом, с этой страной и ее историей, чужой и странно притягательной? Еще ничего о ней не зная, я уже примеряла этот храм и страну на себя и страшно переживала: не отвергнут ли они меня, не отвернутся ли?

Но вот появляется Лариса Васильевна, взмокнувшая и озабоченная, в сопровождении монашки в черно-белом одеянии. Могла ли я подумать, что через год надену такое же платье!

— Отправляемся на экскурсию в крипту, — заявила Лариса Васильевна.

Молчаливой гурьбой туристы потянулись за черно-белой монашкой.

Вниз вела винтовая лестница, и чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось. Вот уже совсем холодно, как в склепе, — вероятно, мы спустились ниже фундамента.

После двух-трех поворотов, все время забиравших вправо, очутились перед дверью из темного дерева. Монашка отперла ее ключом и выпрямилась.

— Вы находитесь в месте упокоения великих душпастырей украинского народа, — проговорила она строго, глядя поверх наших голов.

Крипта — большая белая комната с овальными сводами и пятью массивными гробами из красного дерева. В вазе на столике сухой, кисловатый запах источал букет из черно-алых роз.

Тихо, свежо, чисто...

— Здесь покоятся, — перекрестившись, дрогнувшим голосом проговорила монашка, — отцы нашей святой церкви: кардинал Сильвестр Сембратович, митрополит Андрей Шептицкий, патриарх Иосиф Слипый, митрополит Владимир Стернюк и Мировослав-Иван — кардинал Любачивский...

И она принялась повествовать о многострадальной судьбе первоиерархов Греко-католической церкви.

Слушали ее почтительно. И когда она закончила, все вздохнули, сочувствуя и переживая...

Мне нравился храм, он был уютным и домашним. Нравилось находиться в крипте, среди тишины и вечного покоя. И слушать рассказ монашки с добрым просветленным лицом — так и хочется сказать — «ликом». Я не испытывала раздвоения и сомнений в правомерности моих чувств — свое и чужое казались одинаково прекрасным и заслуживающим восхищения.

— Как вы относитесь к православию? — спросила пожилая женщина в шляпке, когда монашка закончила рассказ и перекрестилась на раки усопших.

— То *hibna vira*, — потупилась та.

— Ма-а, я хочу домой-ой... — расплакался белобрысый малыш, нетерпеливо дергая за рукав молодую женщину, стоявшую позади и тихо на него шикавшую.

Все рассмеялись, в лице монашки что-то дрогнуло, и она ласково погладила мальчика по голове...

...Когда из крипты мы поднялись наверх, храм был ярко освещен. Сновали служки в золотых одеждах, и торжественное пение разносилось гулко и радостно. Шел обряд венчания.

У входа благоговейно замерли разряженные родственники молодых.

Новобрачные — она в белом платье и венке из полевых цветов, а он в смокинге и белой манишке, красные от смущения, — склонили головы перед алтарем. Священник в золотом и черном торжественно и звучно читал из Евангелия. Я с трудом пони-

мала текст, так он был переполнен местными фразами и незнакомой фонетикой. Мне казалось, что это я стою вся в белом перед священником, с трепетом ожидая, когда он возложит на меня свадебную корону. Мне и страшно, и сладко. Что-то внутри говорило, что со мною так и будет. Вся в белом я буду стоять здесь вместе с красным от радости и волнения женихом, и тоненькая свечка в моей руке будет мелко дрожать от испуга и счастья...

А на паперти переминались, ожидая своей очереди, новые пары. За церковной оградой блестели капоты свадебных автомобилей, толпились взволнованные родители и покуривали шеголеватые шаферы. И плыл кажущийся вечным радостный церковный перезвон...

ХIII

...Из собора мы выехали около полудня и были очарованы красотой открывающихся за окнами пейзажей.

«Ах, какая прелесть!..» «Как красиво! Не то что наши голые степи...» — слышались восхищенные голоса.

Лес, окружавший дорогу, сгущался, подступал к шоссе и внезапно и ясно расступался, открывая чудесные, полные света и тишины лесные поляны.

Остановку сделали на широком лугу. Засидевшиеся пассажиры, пугливо озираясь, высыпали на лужайку и разбрелись, разминая затекшие ноги. Совсем близко рождался и крепнул глухой, равномерный шум, словно работала водяная мельница.

Горная река, подскакивая на порогах, стремительно несла свои кипящие воды. И над нею, как у входа в Рай, сияла многоцветная радуга. Воздух сиял и дымился. Казалось, тканое серебро развешано по зеленым берегам сверкавшей на солнце реки. А на окружавших долину холмах высились светло-серые стога, словно подвешенные в воздухе.

— Местные технологии, — объяснил папа. — Лето здесь дождливое, и чтобы сено просохло, крестьяне устраивают под ним что-то вроде клиренса. Свободное пространство между стогом и землей. И кажется, будто стога висят в воздухе...

Охотников искупаться в горной реке так и не нашлось. Одна я под тревожные возгласы папы — «Смотри, чтоб тебя не унесло!» — сбросила кроссовки, стащила с себя джинсы и вошла в ледяную воду.

Поток был такой силы, что сначала я не почувствовала холода. Ноги скользили по мокрой гальке, и я с трудом удерживала равновесие. Балансируя всем телом, добралась до середины реки и, облюбовав торчавший из пены валун, обхватила его руками.

И тут жуткий холод накрыл меня с головой. На минуту я потеряла сознание. А когда пришла в себя, ледяной поток омывал меня, как мифические воды Леты. И я не знала, живая это вода или мертвая. Но то, что это было мое новое крещение, я поняла сразу. Этот край, прекрасный и дикий, принимал меня в свое лоно, и я с безропотной готовностью отдавала ему себя всю.

Чувство слияния с этой землей овладело мной с такой силой, что я испугалась. Боялась рассказать папе, что накрыло оно меня внезапно и помимо воли, как ледяная пена реки. Мне казалось, с этим чувством я родилась. Оно дремало столько лет, ожидая своего часа! И вот пробудилось и заполнило меня без остатка...

— Знаешь, — сказал папа, когда я оделась и расчесывала мокрые волосы, — как называлась эта страна в средние века? В Европе ее называли *Lodomeria* — «Земля Владимира». Здесь все, — неопределенно повел он рукой, — когда-то было нашим, русским...

Таким глубоким сожалением веяло от его слов и жеста руки, бессильного и отчаянного, что сердце у меня екнуло. Все здесь было когда-то русским — милым, спокойным, счастливым и сердечным. И вот — ничего этого нет...

С Историей происходит то же, что и с человеческой жизнью: все проходит, чтобы закончиться ничем. Приходит новое, и с этим новым никто не желает спорить.

Но мне от этих истин не было ни жарко, ни холодно. Я наслаждалась тем, что сжимала в руках в настоящую минуту. Что видели мои глаза и обоняли ноздри. Склоны зеленых гор, светлые, озаренные нежарким солнцем. Яркую зелень опушки, строгую черноту елей и лиственниц. Там и сям разбросанные по холмам вертикально сбитые стога, напоминавшие застывших в раздумье овец или кельтские дольмены — огромные камни, утратившие свое ритуальное назначение.

Две немолодые женщины в шляпках, соседки по туристическому автобусу, переговариваясь, рвали на лужайке цветы — бледно-синие, на тоненьких ножках васильки и мясистые, сиреневого тона цветы шалфея. Я вслушивалась в их щебет, чувствовала на своей щеке солнечное тепло и чистое веяние горного воздуха; обоняла запахи цветов и трав и воображала себя Евой, оцепеневшей от красоты Рая...

Папа курил, сидя на траве и задумчиво поглядывая в сторону леса.

— Я вот представил себе, — начал он. — Представил, как выйдут сейчас из леса двое мужчин во френчах, с немецкими автоматами на груди. И спросят: «Кто ты такой и что ты делаешь на нашей земле? Ты — москаль?» — «Да, — отвечу я, — москаль». Они докурят свои сигарки и медленно, словно нехотя, выпустят в меня длиннющую автоматную очередь!

— Что ты такое говоришь, — возмутилась я. — Какие двое, какие автоматы! Кто тебя собирается расстреливать?!

— Шучу, — усмехнулся папа. — После войны здесь было много «лесных братьев». Ты не знаешь, я тебе не рассказывал... Твоя двоюродная бабушка и моя тетя, ее звали Тася, после войны окончила пединститут и приехала по направлению в карпатское село. Учительницей русского языка и литературы. Колхоз выделил ей усадьбу — по-местному «садыбу». Корову, домашнюю птицу... А через месяц к ней ночью пришли и сказали: убирайся из села или пеняй на себя. Надо было знать тетю Тасю, — печально улыбнулся папа. — Уезжать она наотрез отказалась: на кого я брошу ваших неграмотных детей?.. Она была смелая девушка и очень любила детей, в селе ее уважали...

Папа докурил сигарету и втоптал окурки в землю.

— А потом ее убили, — поднялся он, отряхивая с брюк землю и волосы примятой травы. — Подождли ночью дом, облив его бензином и заперев предварительно двери... А ведь я даже не знал тетю Тасю, родился, когда ее уже не было... Ну-ну... зачем плакать, — обнял он меня за плечи. Что было — то прошло. Пора ехать, видишь, нам уже машут...

И бережно, как больную, папа повел меня к автобусу, сожалея, что рассказал историю неведомой мне бабушки. Она не на шутку меня взволновала, папа это видел, как и я видела его смущенное, растерянное лицо...

XIV

...Мотор микроавтобуса гудел уверенно и ровно. Но вот он заглох, и наступила тишина. В салоне зажегся свет, тусклый и желтый

— Выходим и строимся, — распорядилась Лариса Васильевна.

Мы приехали на Ясную гору, где на обратном пути нам обещали показать мужской монастырь.

Притихшие, уставшие от поездки, глухой ночи и безмолвного леса, мы скучились возле автобуса.

Белея платьем, как лесная нимфа своим телом, Лариса Васильевна, все здесь знавшая и видевшая даже в темноте, нырнула в скрытый кустарником лаз. Взавшись, как дети, за руки, мы продирались за ней следом.

За лазом открылась широкая, серевшая в свете звезд булыжная дорога, круто и ко-со поднимающаяся вверх. В темноте я потеряла папу, но боялась остановиться и его позвать: за мною шли люди, и если я остановлюсь, то задержу движение.

По сторонам тлели зажженные свечи и лампадки. Виднелись ниши и белые часо-венки с барельефами распятого Христа, Девы Марии со скорбно сложенными руками и фигурка святого Онуфрия в узкой раке...

Дорога, которой мы поднимались к монастырю, была подобием Via Dolorosa — Крестного пути. Им должен следовать каждый, поднимающийся к обители.

Мы шли и шли, и дорога становилась все круче. Наконец я ощутила теплое прикосновение отца — он догнал меня, положил в темноте руку мне на плечо, и я успокоилась.

Дорога сузилась, потом стала совсем узкой. Шедшая впереди женщина с ребенком, девочкой лет восьми, охнула и остановилась: «Там — пропасть!..» Слева чернел казавшийся бездонным провал — путь в никуда, в смерть...

Над грубо мощенной дорогой с провалами и поворотами, лампадками и свечами беззвучно реяли летучие мыши...

Немного посветлело. Шедшие впереди остановились, чтобы перевести дух. Еще две-три минуты, и мы оказались на широкой монастырской площадке. На посветлевшем небе вырисовывался небольшой купольный храм с широко распахнутой дверью.

Нас, очевидно, ждали. Сиротливо темнел келейный домик, окна были распахнуты, и в них горел свет. Перед храмом, бурно жестикулируя, что-то объяснял Ларисе Васильевне санаторный фотограф Славик. Этого Славика я часто видела на его обычном месте возле бювета. Он лениво покуривал на раскладном стульчике в тени большой лиственницы. Фотографическая тренога с планшеткой, пестревшей цветными снимками, терпеливо поджидала клиентов на солнцепеке или мелком карпатском дожде.

На Серебристых водопадах Славик с романтическим видом бродил с дамами по лужайке и веселил их старыми анекдотами.

— Вы, кажется, все здесь знаете, — сухо обратился к нему папа. — Почему кельи пусты, разве в монастыре нет монахов?

Славик оторвался от что-то ему выговаривавшей Ларисы Васильевны и улыбнулся.

— Монахи разъехались на летнюю учебу. Одни в Краков, другие в Варшаву. Потому и кажется, что монастырь пуст. Но жизнь здесь не прекращается ни на минуту... Извините, — передернул он плечами, — мне нужно срочно найти пана настоятеля.

И через минуту он вернулся в сопровождении молодого человека с темными, гладко зачесанными волосами.

Пришедший со Славиком человек был в черном пасторском одеянии, напоминавшем старинный гимназический мундир. Стоячий воротник, белый подворотничок из целлофана, несвежий и грязноватый...

Он торопливо вошел в храм, и по кивку Славика мы последовали за ним.

Пустой и гулкий ночью, храм тускло освещала одна-единственная лампочка. Под полутемными сводами бесшумно проносились летучие мыши. Женщины — их в нашей группе оказалось большинство — жались к сырým стенам, как стадо испуганных коз.

Настоятель опустил перед алтарем на колени и сложил руки лодочкой. Я едва различала его глухое бормотание — монах сосредоточенно молился.

Но вот голос его стал крепнуть, но речь по-прежнему была бессвязна. Он как будто призывал кого-то на помощь или прогонял прочь.

Мне стало страшно. Неуравновешенный священник, невнятные, клопочущие звуки молитвы — слов я разобрать не могла — внушали ужас. Голова кружилась, но я решила выдержать это испытание до конца.

Перед отъездом во Львов я начала читать, но не успела его закончить, роман Майринка «Белый доминиканец». И вспомнила, как барон Йохер наставлял своего ученика.

«Я хочу научить тебя молиться. Это надо делать не словами, а руками. Тот, кто молится словами, просит милостыню. Человек не должен просить. Твой Дух уже знает заранее, что тебе необходимо. Когда две ладони соприкасаются друг с другом, левая половина в человеке замыкается через правую, образуя цепь. Таким образом, тело прочно связано, и из кончиков пальцев, обращенных кверху, свободно взвивается вверх пламя... Это тайна молитвы, которую не найдешь ни в одной из Священных книг...»

Я полюбила католичество оттого, что оно допускает подобные мысли и не требует вмешательства Господа в мои личные дела. Но тогда, в темную, зловещую ночь на Ясной горе мне казалось, что я совершаю немыслимый грех. В неприятном, неухоженном храме с летучими мышами и тусклой лампой, скрывавшем что-то недоброе. Со странным священником и странным, с двусмысленной улыбкой фотографом Славиком... Несмотря на показную любезность, он мне тоже казался недобрый, неискренним.

— Отец Глеб молится о спасении наших душ, — доверительно сказал Славик.

Он легкомысленно разгуливал по храму, равнодушно поглядывая на отсыревшие фрески: чудо окормления пятью хлебами, въезд Господа в Иерусалим, оплакивание тела Иисуса у Креста...

В храме стоял нелетний холод. Пахло сырой штукатуркой и плесенью, и хотелось поскорее уйти, так на душе стало тяжело. Что-то чужое, холодное и липкое касалось меня, словно летучая мышь, прицепившаяся к платью.

Священного пламени, исходящего из кончиков пальцев отца Глеба, я не заметила. Но фраза Майринка о Духе, который ведает, что нужно делать во время молитвы, не выходила у меня из головы. Я чувствовала, знала, что все совершающееся не имеет ко мне отношения. Это не мое таинство, не моя связь с невидимым миром. А что-то чужое, враждебное и неумолимое, как наводнение или иная катастрофа...

Папа стоял в стороне, и вид у него был потерянный. Я дернулась, чтобы подойти и взять его за руку, но в эту минуту отец Глеб поднялся с колен.

— Здесь все украинцы? — оглядел он притихших, присмиривших туристов. И провозгласил: — Становимся в коло...

Он схватил за руки растерянно топтавшихся женщин и, образовав круг, повел их за собою. Шаги его ускорились, женщины тяжело дышали, и мы с папой с изумлением наблюдали за происходящим. Отец Глеб почти бежал. Время от времени он сбавлял скорость, отчего живое кольцо смешивалось, сгрудившись в неловкую толпу, и, осенив себя крестным знаменем, громко вскрикивал:

— Пресвята Дива Мария, заступница и охранительница, веди нас за собой!

Внезапно он остановился как вкопанный. Снял с пальца железное кольцо и яростно воздел его над головой.

— Видите эту обручку?! — громовым голосом спросил отец Глеб. — То обручка Пресвятой Дивы Марии, святые апостолы сняли ее с пальца Божией Матери, когда Дива успе. И понесли в мир как знак вечного воскресения! Ту обручку я получил в дар от главы нашей святой церкви владыки Мирослава перед отъездом из Америки. Смотрите, люди, и благоговете! — вскричал он, потрясая кольцом. — Несите народу правду про Господа и Диву Марию!..

— Он сумасшедший. Как Достоевский, — сказал папа, когда мы выходили из церкви. Но в его оценке не было привычной иронии, он был смущен и хотел это скрыть.

XV

...В ночной темноте по монастырской Via Dolorosa мы спустились к автобусу. На душе у меня было смутно и пусто. Я спотыкалась о мелкие и крупные камни, и мне хотелось придержать себя руками, потому что крутая дорога сама несла меня вниз...

В автобусе так же молча, как спускались с горы, мы расселись по местам, и «фольксваген» тронулся — ехать до санатория оставалось минут тридцать...

— Мне реально было не по себе, — рассказывала я Тарасу на следующий день о нашей поездке.

После ужина папа поскакал к своей Елене, настроение у меня было никудышное, и я не знала, чем себя успокоить.

Мы сидели с Тарасом одни в вечернем парке. Посеревшие от времени и дождей деревянные стены Охотничьего павильона были изрезаны перочинным ножиком: «Марьяна и Оксанка. 28.08.91 г.»... «Здесь были Тарас и Оля. 10.06.2012 г.». «Что за Тарас, не мой ли искатель приключений? Подцепил приезжую Олю (как потом и меня!) и увековечил это событие надписью на доске. Следующая, надо полагать, будет с моим именем...»

Красовались и другие автографы: любовные признания, клятвы в верности и обещания не забыть, встретиться в следующем году. Я с любопытством вертела головой, думая о том, сколько же счастливых и не очень счастливых людей сидели на этих сырых, шершавых досках. Одних уже нет — разъехались по городам и весям разных стран; вышли замуж, переженились. Теперь они другие люди, потому я и сказала, что «их уже нет». Нет молодых, веривших в свою удачу, любовь, радость и счастье. Застывшие в дереве и казавшиеся легкомысленными слова говорили об одном и том же: все проходит, и счастливые минуты превращаются в корявые, бездушные тексты. И в усталость, с какой их прочитывают другие люди. Жизнь уходит, тает на глазах, и ничего с этим нельзя поделать...

Было холодно, меня била нервная дрожь, потому что я все еще не могла успокоиться от увиденного и услышанного вчера.

— Страшно было все, — рассказывала я. — Лесная беспросветная ночь, зловещий монастырь, странный отец Глеб...

Тарас снял куртку и накинул мне на плечи.

— Успокойся, ты переволновалась...

Мы встретились, как обычно, на танцах, я отправилась туда от безысходности. Танцевать мне совсем не хотелось, но сидеть в номере было еще хуже.

Тарас подошел, как только я появилась на танцевальном пяточке. Он меня уже ждал.

— Я скучал по тебе, — сказал он так просто, что у меня брызнули слезы. Оказывается, кто-то меня на этом свете ждет! Ничего не нужно: ни сложностей, ни раздумий, ни мучительного выбора. Два-три участливых слова, и вот — я сразу пустила слезу. У Тараса умные, чуткие глаза, и я рассказала ему все. Все, что видела и слышала, что пережила в тот вечер. Только так я могла успокоиться и приплыть к какой-нибудь гавани. Меня тронуло выражение доброты на его лице. Когда он набросил на меня куртку, он с нежностью коснулся моих плеч.

— Так скучал, что самому удивительно.

— Я тоже скучала, — всхлипнула я.

«Сцена объяснения Лжедмитрия и Марины Мнишек», — утирая слезы, подумала я. Точно так же они уединились в парке Самборского замка. Только вечер был не сырой, как сегодня, а ясный, с луной в чистом небе. Какое же объяснение без луны!

А у меня... у нас оно связано с только что прошедшим дождем и моими слезами. Мне хотелось попасть в его настроение, его печаль. Я поверила себе, что тосковала по нему и ждала с ним встречи, — мне было тревожно и стыдно.

Хлюпая носом — то ли слезы, то ли начинающаяся простуда, — я во всех подробностях рассказала Тарасу о поездке на водопады, про монастырь на Ясной горе. Рассказывала торопливо, искренно и чувствовала, как сваливается с души огромный, тяжелый камень. С папой так откровенничать я не могла. Не поделилась бы с ним и сотой долей впечатлений. Несмотря на любовь к нему, я чувствовала стену между нами, и стена эта продолжала расти. Папа слишком ироничен, скепсис из него так и бьет. Слова не скажет без издевки. Слишком рассудителен и равнодушен, это жизнь сделала его таким. И недоверчив он тоже от большого жизненного опыта. Меня это отталкивает. Когда мне будет столько же лет, сколько ему, я, наверное, тоже стану недоверчивой. И мои дети будут сдержаны в проявлении чувств — не очень-то хочется, чтоб они выросли плаксами, как их мама.

— Никто никого не понимает, — в конце концов вырвалось у меня.

Тарас покачал головой:

— Ты не права, я же тебя понимаю...

А я подумала: врет! То, что я ему рассказывала, для него привычная, будничная жизнь: отец Глеб, монашка-василианка, белая крипта с черными розами. Склизкие стены монастырской церкви и сумрачно-серебристое убранство собора Святого Юра. Все родное, привычное, оно присутствует в его жизни с рождения. А для меня все здесь ново и необычно. Оно ранит, возбуждает, впечатляет. Устраняет меня из старой жизни, а я цепляюсь за нее, как ребенок за подол матери: попробуй оторви! Чувствую, что я духовно расту, и это самое мучительное. Мучительно, когда не знаешь, в какую сторону потянется молодая ветка; буду ли я довольна ее ростом, тягой к неизвестному? Мы разочаровываемся, когда жизнь выводит нас не на ту колею. Когда я училась в школе, то полюбила мальчика из соседнего класса. Он был голубоглаз, белокур, как ангелочек, и звали его Володя Зиновьев. Я долго думала, рассказать о нем папе или промолчать? Мне хотелось сочувствия, а кроме папы, у меня никого не было. Ни мамы, которая все поймет, ни подруг, способных сочувствовать и понимать.

И я решилась. Долго и сбивчиво рассказывала папе, чем пленил меня кроткий, застенчивый мальчик. Красотой, какой я ни в ком до поры не замечала. И чем-то еще, что мне самой было непонятно. Речь получилась длинная, сбивчивая и невразумительная. Папа улыбался, курил. Молчал... Потом погладил меня по голове:

— Идем ужинать, дочка...

Мне стало так обидно! Все, что я наговорила, навяло ему мысли о еде! Наверное, все же не так, — принялась я оправдывать папу. Наверное, я неточно истолковала его слова. Слова часто выражают не то, что мы думаем. Но я была молода и неопытна и не научилась предвидеть другие значения слов. Я просто ничего о них не знала!

Тарас говорит, что он меня понимает. А я думаю: способны ли люди вообще понимать друг друга. Или он вкладывает в это другой смысл? Не ошиблась ли я в нем, как ошиблась с папой?

Мы сидели в Охотничьем домике. Тарас обнял меня и прижал к себе. Но дальше скромной ласки он пойти не решился — у него достаточно такта, чтобы не спешить. Всем своим видом он показывал, как он мне сочувствует. И жалеет. Но я-то знала, что у него на уме. У них у всех на уме одно и то же. Но потом я подумала, что только так и можно преодолеть неустроенность и сиротство, других путей у женщины не бывает. И что я должна быть мягче и терпимее, хочешь что-нибудь получить, убеждала я себя, научись себя отдавать!

Тарас погрузился, заговорил о себе. Летом, во время каникул у него совсем нет времени на отдых и развлечения. Он как будто оправдывался, что положил руку мне на плечо, а заодно и в своих прошлых амурах. Живет он на улице имени Романа Шухевича, — когда в Моршин приезжал его сын Юрий, в Доме культуры была с ним встреча. Пришло много людей, пришли старики, лично знавшие главнокомандующего УПА.

— Я хотел пойти в Дом культуры, чтобы увидеть и услышать сына нашего героя, но мама не отпустила: пока нет дождя, нужно покрасить забор в садыбе...

С утра до вечера Тарасу приходится работать по хозяйству. Как крепостному. Он так и выразился: «как крипаку». Пока тепло, нужно перекрыть обветшавшую крышу. Положить вместо древнего советского шифера что-нибудь современное, он хотел бы металлошифер темно-красного цвета, как во Львове, в усадьбах богатых горожан. Они устраивают жилье по польскому образцу: дом-вилла. Я видела такие из окна экскурсионного автобуса, когда мы с папой ездили по Галиции. С легкой руки его белокурой пассии из агентства «Львовтурист»...

Об этих поездках стоит рассказать отдельно и подробно, так они врезались в память — великолепные поездки на озера и полонины, в замки польской и австрийской знати. В чудесный край Бойковщину, где процветает матриархат. Женщины у бойков уезжают на заработки, а мужчины сидят дома с детьми и занимаются хозяйством. Таков вековой обычай: деньги у бойков зарабатывают дамы...

Бойковщину и Лемковщину мы проезжали, добираясь до солнечной Трансильвании, это была самая дальняя наша поездка.

...Долго катим в зеленых горах, взбираясь все выше. Лес то редет, наливаясь солнечной желтизной, то становится хмурым и непроходимым.

— Приближаемся к перевалу, — предупредила Лариса Васильевна. — Если почувствуете глухоту, знайте, что это временно...

Глухоты я не почувствовала. Наверное, потому что погрузилась в подсчитывание перевалов, их мы должны преодолеть целых пять: Тухольский, Латорицкий, Орявский, Опирский и Латерский.

Промчали мы их без особого труда и без последствий для здоровья. Блеснула извилистым серебром речка Латорица и исчезла, — и по трансъевропейскому шоссе мы выехали на Среднедунайскую низменность. Широкая автомобильная трасса, по ней наш «фольксваген» мчался с радостным шипением шин, вела в Прагу, Будапешт... Солнце радостно сияло в безоблачном небе, и суровые тучи Прикарпатья остались далеко позади.

Вот лысая Княжья гора с готической церковкой Святого Андраша. Лариса Васильевна объявила пятиминутную остановку. Женщины бросились на крохотный мадьярский рынок, а я побрела к церкви. Обошла ее со всех сторон, она была деревянная, с деревянной табличкой, извещавшей, что построена в 1886 году. И мы отправились дальше.

В первый раз я оказалась так далеко от родного «Пролииска» и почувствовала тоску сиротства. В Галиции сейчас дожди, пасмурно и неуютно. Мне такая погода нравится. Она отвечает моей угрюмой натуре, вечно хнычущей и требующей привилегий.

А в жизнерадостной Трансильвании невозбранно, как в Крыму, царит солнце. И все, что открывается глазу, радостно и непривычно. Рассказы экскурсовода становятся все увлекательнее и романтичнее. Вот Лемковщина — приграничный с Европой край, где чудесным образом перемешаны культура украинская, венгерская, русская; костелы, православные храмы, униатские соборы. Такой национальной и культурной пестроты я никогда раньше не видела и смотрела, широко открыв глаза. При том,

что сами лемки — народ не шумный. Обитают на своих холмах скромно, неспешно и чинно-патриархально, как будто живут на свете одни. И как сотни лет назад, ходят в национальной одежде, цветистостью напоминавшей венгерскую. Сохранили привычки, традиции и суеверия, пришедшие из древности, пугающие своей самобытностью. Не поймешь, какие течения в этом потоке преобладают — венгерское, украинское или Бог знает еще какое — древнее, неведомое. Украинским его не назовешь, так сильно отличается оно от той Украины, к которой я привыкла. В которой живу почти что с рождения. Что-то чуждое, богатое и сильное чувствуешь в каждом слове, жесте, поступке. Даже во взгляде, отчужденном и сумрачном. Здесь лучше я стала понимать нашего самборского соседа, будущего царя Лжедмитрия, — его бесконечно притягивала вся эта прелестная мешанина из восточного и западного ингредиентов, русского и европейского снадобий, смешанных в один хмельной напиток. Смесь эта пьянит быстро и сильно, как молодое вино, и хочется пить ее, как сказочную живую воду...

— Насчет Лжедмитрия ты права, — говорил папа, когда сбивчиво и неуверенно я объясняла обуревавшие меня мысли. — Он — первый русский царь, надевший европейское платье. Первый царь, вышедший в народ. Так просто и на равных общаются с простым людом нынешние лидеры, в старину обычаи были строже. Вел себя без надувания щек и не требовал себе сакральности. Ходил в обычном платье, демонстрируя простые манеры. И это в семнадцатом веке, когда цари и короли почитались божествами! Странноватый наш самодержец ввел в России институт парламентаризма на европейский манер — Сенат. С правом ведения дискуссий и принятия решений. По европейским принципам реформировал армию. Положил начало — задолго до Великой французской революции! — стиранию граней между сословиями и начал реформу образования. Тайно, потому что иначе сделать это было невозможно, принял католичество и соединил в своей персоне две крупнейшие мировые конфессии — католичество и православие. И это всего за несколько месяцев правления, отведенных ему историей! С этой точки зрения, — высказал папа необычную мысль, — движение Минина—Пожарского и воцарение дома Романовых было явлением освободительным, а с другой стороны, что-то новое для себя мы навсегда потеряли...

...И снова уверенно и ровно гудит двигатель нашего «фольксвагена», снова нескончаемый лес с прорезываемыми солнечными лучами дебрями и редкими полянами. Вот просияло синим глазом и скрылось лесное озеро, темное вблизи и серебристое в отдалении. Я люблю этот лес и озеро, мелькнувшую и исчезнувшую деревянную церкву и все, что я встречаю в пути и еще встречу, — прекрасную, отгороженную от остального мира страну, похожую на келью монаха-отшельника...

Вот Чернечая гора, православный Свято-Никольский монастырь. Делаем первую длительную остановку. Монастырь древний, основанный дочерью Ярослава Мудрого и женой венгерского короля Андраша Анастасией. Сегодня большой церковный праздник — Троица. Людей вокруг — море. Мы долго не можем припарковаться: подступы к монастырю забиты автомобилями.

— По праздникам сюда съезжаются верующие со всей Трансильвании, — объяснила Лариса Васильевна. — Удивительно, если мы вообще найдем стоянку...

Свободное место нашлось довольно далеко от церкви. Потом мы долго шли к монастырю, белевшему своими стенами, поднимаясь в гору по тропинке, переполненной паломниками — женщинами в косынках и мужчинами с вялыми, замоленными лицами.

Был ранний утренний час. Не жарко, но со всех лиц уже струится пот. Паломничество, церковная служба и бьющие через край эмоции утомляют. Все выглядят усталы-

ми и измотанными. Я вдруг почувствовала — впервые ясно и отчетливо — растущее отчуждение. От безмерного количества жаждущих отпущения грехов, безудержного звона колоколов и вырывавшегося из распахнутых дверей и разносившегося далеко по долине многоголосого церковного пения.

С трудом протиснулась к дверям, но впереди меня ничего не видно и не слышно. Молящиеся и крестящиеся заполнили все проходы. Самые упорные пытаются протолкаться к распахнутым воротам, но плотная людская стена казалась непробиваемой. Истово, никого и ничего не видя, «стена» молилась перед огромной надвратной иконой в золотом окладе. Каждый думал о личном спасении, не замечая ближних. Я, наверное, еретичка, но подумала, что с Богом следует говорить одной, без свидетелей и соучастников. Одинаковость упований не делает нас ближе, общее покаяние не очищает в отдельности. И праздничная суэта разве оправдывает веру? Вера зиждется на одиночестве и понимании своей брэнности. В коллективе неизбежны ликование, сознание своего всеисилия и забвение личного.

Мои вера и упования так далеки от происходящего, что в отчаянии я заплакала: что-то важное оставило меня в минуты общего торжества. Я размышляю о пережитом и вспоминаю, как на Чернечей горе у меня открылись глаза, и я увидела мир и себя иными, чем прежде. Будто омыли меня холодной, прозрачной водой. Жизнь — не очень сложная работа, и жизнь свою я прожила и — отжила. Теперь у меня другое занятие — думать о ней и открывать для себя ее смыслы. Это и есть беседы с Богом. В детстве, юности мы живем для себя, в молодости для людей, а в старости существуем для Бога — это время, когда он открывается во всей своей простоте. Даже удивляешься: как же ты раньше его не понимала! И хотя по возрасту я совсем не старуха, душа от пережитых потрясений померкла и остыла. Стала холодной и твердой, словно изваянной изо льда. Чем меньше хочется жить, тем усерднее стремишься к размышлению. Я пришла к выводу, что жить и осмысливать жизнь — задачи несовместимые. Даже разлучив их, не все бывает понятно. Твердо помню, знаю одно: тем летом у подножия монастыря на Чернечей горе — «чернечая» — значит «монашеская» — еще один кирпичик в строящийся мавзолей, — я поняла, как чуждо мне мое прошлое! И как неудержимо я стремлюсь в неведомое будущее — оно открывается здесь, в этом раю, его полнота отпугивала и очаровывала. Сплелось из разных оттенков, ощущений и запахов, как венок из горных цветов, и я не берусь припомнить их даже малую толику...

XVI

К ужину неутомимый «фольксваген» доставил нас в «Пролисок». Папа все время был не в духе. Пока в столовой я усаживалась и осматривалась, он разговаривал в Зимнем саду с Еленой, а за столом был мрачен и молчалив. Похоже, она отказала ему в randevу. Наверное, у нее критические дни, решила я, чтобы не предположить худшее. Первое увлечение прошло, и к папе она охладела.

Ужинали мы молча, как чужие. Вид у папы был усталый и нездоровый. Я подумала, что наши поездки ему не в радость, но он хочет угодить мне даже в мелочах. Изображает молодого, переполненного впечатлениями туриста, каким он давно перестал быть.

После ужина так же молча и тихо папа лег, сославшись на нездоровье.

— Приятных сновидений! — невпопад пожелала я. Торопливо чмокнула его в заросший седоватый затылок и помчалась в концертный зал. У входа меня уже ждал Тарас. Вчера, прощаясь, мы договорились провести вечер вместе.

На сцене концертного зала выступала супружеская пара из Лемковщины — Татьяна и Лайош Молнар. Она — яркая, дородная, в украинской плахте, с монистами на крупп-

ной шее и с венгерской дымчатой смуглостью круглого лица. Он — типичный мадьяр: небольшого роста, черный, вислоусый и хмурый. Бандурист по народной традиции должен быть слепым, и Лайош Молнар был слеп. А Татьяна — «Тетяна», так она представилась залу — ему не только жена, но и поводырь. Читала она стихи, народные и собственного сочинения. О Карпатах, о любви, о сложной женской доле. О муже и детях...

Когда ей декламировать, а залу слушать надоедало — смену настроения она чувствовала тонко, — приходил черед музыки. Лайош пел под серебристое журчание бандуры украинские «думы», и я тихо рыдала, так трогала меня музыка, хотя слов я не понимала. Лайош пел по-венгерски — гортанно, со всхлипываниями и ударами на первом слоге. Тарас удивленно на меня поглядывал, а потом заулыбался. Глядя на него, улыбнулась и я: жизнь так проста и легка, когда тебя любят! В том, что Тарас меня любил, я не сомневалась: достаточно посмотреть ему в глаза. Столько там тепла, искреннего сочувствия и нежности, что я обмирала от счастья.

— Погуляем? — наклонившись, прошептал он. Я кивнула. Тарас поднялся, и за ним радостной птицей вспорхнула и я. Взявшись за руки, мы побежали по пустому и гулкому Зимнему саду. Свет был выключен, пальмы, цветы и хулиганистые попугайчики давно спали. Горела лишь дежурная лампа у входа. А за ней и конторкой ночного вахтера — милые моршинские сумерки с капающей с елей вечерней росой, мрачностью притихшего парка, темного леса и озера...

До рассвета мы бродили с Тарасом по сырým аллеям и целовались, спотыкаясь о влажные корни дубов.

— Как их много, — смеялась я. — Мы расшибем себе лбы!

— Они как чьи-то лапы, — шутил Тарас. — Хватают нас от зависти за лодыжки!

— Мы с тобой как Марина Мнишек и Лжедмитрий. («С единственной поправкой, — подумала я, — предательницей в нашем случае выступала «Марина».)

— Кто такие? — насторожился Тарас.

Я почувствовала в его голосе неподдельное любопытство. Его интересовало все, что связано с любовными отношениями, тут он почти ребенок.

Я рассказала ему историю русского царевича и Марины. Смаковала детали их любви и его предательства: дружбу с польскими панями, тайный переход в чужую веру. И жуткую смерть в Москве.

— Не слышал о таком, — честно признался Тарас. — Этот царевич... он жил у нас?

— Ну да. В Самборе.

— Я бывал в Самборе, — воскликнул Тарас. — Там живет вуйко Дмитро, папин двоюродный брат!

Я стала рассказывать ему о старинном Самборском замке — наверное, от него ничего не осталось, и Тарас не мог видеть его во всем великолепии. О знаменитых пирах Мнишека, на которые съезжалась ближняя и дальняя знать. Обо всем, что знал, читал и рассказывал папа, — он так усердно готовился к нашему путешествию, что, кажется, забыл о своей болезни. Что, в сущности, совсем неплохо: занятия историей Галиции отвлекали его от хронических болей. Конечно, я приукрашивала, описывая прошлую жизнь. Мне и самой хотелось, чтоб она выглядела как упрек жизни настоящей, прозаичной и сухой.

Вот панский замок на берегу Днестра — деревянный, с башенками, весь покрытый золотом. Внутри замка костел, тоже деревянный. И дворец хозяина с античным фронтоном (польские паны любили ссылки на древнеримскую архитектуру) и гербом Мнишеков — пуком перьев — над входом. В огромных сенях толпятся в ожидании гостей разнаряженные слуги. Из сеней вход в столовую, где собирались гости, и тянет-

ся анфилада роскошно убранных зал. Потолки разрисованы изображениями зверей и птиц. Двери в резной позолоте, стены украшены гобеленами, изображающими эпизоды охоты, сражений, любовных сцен и мифических событий. Гостей лакеи рассаживали вокруг обильно накрытого стола таким образом, чтобы возле каждого мужчины сидела дама.

Дмитрия посадили рядом с Мариной — или ее с ним, скорее, именно так, потому что хитрый Мнишек уже подумывал о родстве с царевичем. О моем же будущем браке не задумывался никто, и мне самой приходилось решать, с кем «садиться за трапезу».

В честь высокого гостя стол уставлен сладостями, выполненными в виде Московского Кремля и двуглавых орлов, и я подумала, что было бы справедливо устроить что-нибудь подобное на моей свадьбе. Но тут же отбросила эти мысли как слишком далеко уводящие и мешающие наслаждению минутой. А наслаждаться здесь было чем: мне нравилось сообщать Тарасу незнакомые вещи, видеть в любимых глазах детское изумление и задаваться вопросом: понимает ли он, к чему я клоню?

После ужина Марина и Дмитрий уединились в самборском парке — вот как сейчас мы с тобой, и с деревьев тихо капала вечерняя роса. Тарас нежно провел рукой по моей щеке, вытирая влагу, и, тихо смеясь, я повторяла, что зря он старается, роса накапает снова. А он повторял, что готов смахивать ее с моих щек всю жизнь, чтобы роса не напоминала мои слезы — для них нет достаточных причин. И мне казалось, что чего-то в жизни он не понимает, не знает. Но мне было все равно, я вся была во власти этой ночи и нашей любви.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МЕД И ПОЛЫНЬ

I

Прошло несколько месяцев после той счастливой и сумбурной ночи в моршинском парке, а мне кажется, что минула вечность, столько событий и горя я успела пережить!

В первых числах августа папе стало хуже.

Под утро я вернулась в номер, мокрая от росы, вся измятая и растрепанная. Папа с резко пожелтевшим лицом сидел на постели, поджав ноги и втянув живот. Живот он поддерживал руками, как будто боялся, что он вот-вот развяжется и оттуда вывалится все его «богатство»: распухшая, пораженная циррозом печень, камни в желчном пузыре et cetera. Раскачиваясь, как монах на молитве, он громко стонал. Губы у него потрескались, стали совсем сухие, а в глазах застыло страдание.

— Что с тобой, па?! — бросилась я к нему. В испуге я трясла его за плечи, целовала в мокрый, холодный лоб. А в ответ слышала судорожное, прерывистое дыхание и стоны... тяжелые стоны умирающего человека.

Внутри у меня похолодело. «Как быть, — мелькнуло в голове, — как мне быть, если папа умрет здесь же, в санатории? Вот прямо сейчас, у меня на руках? Как его убрать, положить в гроб, доставить домой?..» Наваливалась масса вопросов, а ответов на них не было. Что мне следовало предпринять, кого поставить в известность, с чего начинать, на кого опереться?.. О Тарасе я не думала, хотя еще десять минут назад он занимал все мои мысли. Тарас — ребенок, несмотря на то, что он занимается массой практических дел. Но как помогающего человека, мужа — нет, в этом качестве я его не видела. У постели умирающего папы все житейское, бытовое ушло, стало ненуж-

ным. Любовь вызывала недоумение, а только что переполнявшее меня счастье казалось неуместным.

Терзаясь страхами, я выбежала в коридор и наткнулась на проходившую мимо дежурную медсестру. Она сделала папе укол обезболивающего, он затих и уснул. Я плакала, глядя на его потное, изнуренное лицо. Понимала, что папу я теряю, но была не в силах предотвратить неминуемое...

Медсестра позвонила в городскую больницу и объяснила ситуацию: в санатории могли оказать больному первую помощь, но, увы, здесь не лечат.

Через некоторое время приехала «скорая». Папу уложили на носилки и увезли в отделение. Я поехала с ним и больше живым его не видела...

После обеда я забежала в больницу — меня сопровождал Тарас, ему я сразу же позвонила, как только выдалась возможность, — но папы уже не было. Он скончался в полудреме после укола, громко вскрикнув напоследок.

«Как будто утюгом обжегся, — рассказывала, сочувственно покачивая головой, убиравшая в палате нянечка. — Закричал, вскинулся и — помер. Это твой муж? — кивнула она на Тараса. — Держись за него, донька, удвох вам жить будет не так важко...»

Она вздохнула и взялась за швабру. В палате, где умер папа, стоял резкий запах хлорки и тяжелый — холодной воды...

II

Неделя после смерти папы прошла, как в тумане.

С туманом в голове, тоже холодном и с запахом хлорки, я приехала домой. Точнее, привезла домой папу. Гроб с его телом из больницы доставили во Львов, на железнодорожный вокзал и определили в багажный вагон. Я не хотела его там оставлять. Служащие вокзала доказывали, что в обычном вагоне везти покойного нельзя. Но я в слезах, настаивала: хочу ехать с отцом! Пассажирам в багажном отделении ехать не позволено, запрещает какая-то инструкция. Я билась в истерике, кричала и вырывалась из рук державших меня станционных милиционеров. Обещала пожаловаться министру, президенту и в парламентскую комиссию по правам человека.

В конце концов меня силой втащили в купейный вагон. Тарас все это время был рядом со мной. Он успокаивал, поил меня валерьянкой, вытирал платком мой взмокший, как у папы перед смертью, лоб. Казалось, еще немного — и сил моих не хватит, я умру вслед за папой.

Не помню, как я простилась с Тарасом и простилась ли вообще.

Ночью я просыпалась, приходила в себя после недолгого забытья и силилась вспомнить, что я говорила Тарасу на вокзале и что он отвечал мне. Но — говорила ли я? И говорил ли он? Нет, я не могла вспомнить, в памяти какой-то провал...

И я уверила себя, что прощания у нас не было. Я уехала, не думая о Тарасе и даже не махнув ему на прощание рукой. И вспоминала о своем беспомоществе с таким отчаянием, как будто все было кончено. Все кончилось, толком не начавшись. Одна сумбурная лихорадочная ночь, похожая на приступ малярии, ничего не значила. Она ничего не определяла и не давала оснований надеяться. Мое будущее зависло среди огромного количества возможностей, всю жизнь утекавших мимо пальцев. Я так явственно, так отчетливо представила глубину своего краха, что папина смерть померкла и стала казаться пустяком...

Хоронила я папу в каком-то оцепенении: горя в душе не было. Одно лишь тупое, безысходное спокойствие. Как будто меня нет, но почему-то я хожу, слушаю, отвечаю на вопросы и принимаю слова соболезнования. Мы с бабушкой на похороны наде-

ли одинаковые черные косынки, и бабушка плакала и рассказывала, что она предчувствовала раннюю смерть Олега. Потому и обзавелась двумя похоронными платками — для себя и Нины...

Расходы по похоронам взяла на себя папина фирма «Дельта». Никто о делах папы со мной не заговаривал, но главный бухгалтер Екатерина Алексеевна Фомина, тощая дама в очках и с сигаретой в наманикюренных пальцах, позвонила сама:

— Не беспокойся, детка, мы все оплатим, — объявила она скрипучим голосом — я слышала, как она выпускает изо рта табачный дым, и, кажется, видела старчески сморщенную кисть ее руки с сигаретой на отлете.

Потом я узнала, что обо всем случившемся — о скоропостижной смерти папы и моем ужасном состоянии — сообщил на фирму Тарас. Пока я находилась в прострации, время от времени сменявшей у меня истерику, он отыскал в моих вещах записную книжку с телефонными номерами и сообщил главбуху. Попросив ее к нашему приезду приготовить все, что нужно для похорон.

Организационные вопросы Екатерина Алексеевна поручила папиному заместителю Ярославу Владимировичу Куземко, бесстрастному и потому славному человеку со смуглым непроницаемым лицом и серебряным перстнем на левом мизинце. Он быстро и профессионально организовал все, что требуется. Когда мы прибыли из Львова, он встречал нас на железнодорожном вокзале вместе с рабочими из числа персонала фирмы и закрытым «мерседесом»...

В те тяжелые дни я совсем потеряла Тараса, он словно выпал из моей жизни. Когда медленно, словно исподволь, я стала отходить и оттаивать, от него пошли первые осторожные звонки.

— Как ты себя чувствуешь?

— Спасибо, хорошо.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет, ничего...

— Ты на меня сердишься?

— Нет, не сержусь.

— Ты отвечаешь так односложно, как будто не хочешь разговаривать.

— Я устала. И действительно ничего не хочу. Хорошо, что у меня отпуск. Не представляю, как бы я вела занятия в таком состоянии.

— Так бывает, — помолчав, сказал в телефонную трубку Тарас. — Скоро тебе станет легче, надо потерпеть. Как дела у бабушки?

Бабушка была плоха. У нее болело сердце, она без конца плакала и не вставала с постели. На кладбище, когда гроб с телом папы рабочие в черных комбинезонах накрыли крышкой и стали заколачивать, ей стало дурно. Она вскрикнула и потеряла сознание. Ей бросились помогать — одни с нашатырем, его предусмотрительно прихватил кто-то из женщин, другие увещеваниями; кто-то брызгал ей в лицо холодной водой...

Когда бабушку привели в чувство, гроб уже не был виден, вместо него желтел свежий холмик глинистой земли, и высокий рабочий с пшеничными усами аккуратно подравнивал его лопатой.

На холмик сложили венки, потом рабочие собрали лопаты и отошли в сторону. У могилы остались самые близкие: мы с бабушкой, Екатерина Алексеевна и Ярослав Владимирович.

Сотрудники фирмы усаживались в служебный автобус, он отвез их в кафе «Бахчисарай» на поминальный обед, о нем тоже похлопотали папины помощники. Но этих подробностей я тоже не знала и, как во сне, делала все, что мне прикажут. Ни о чем не думая, ничего не соображая...

III

После папиных похорон прошла неделя. Бабушке лучше не становилось, она по-прежнему не покидала кровати, и мне казалось, что дни ее сочтены. Мысль о том, что скоро не станет и бабушки, меня удручала: еще одни похороны я не переживу. С трудом утром вставала, с трудом тащилась в магазин или на рынок — нужно было купить продукты, приготовить еду. Готовила я через силу что-нибудь самое простое — летний суп, омлет, магазинные пельмени, — лишь бы накормить бабушку. Ничего другого осилить я не могла, а самой есть не хотелось. Тарас был прав: должно пройти время, чтобы я почувствовала желание жить. Но и бабушка, словно мы с нею сговорились, тоже почти не ела и все время просила пить.

— Не хочу я есть, — плакала она. — Незачем. Хочу уйти к Олегу...

— Бабушка неплоха, — зачем-то соврала я Тарасу по телефону — вероятно, чтобы пощадить его. Я видела, что он переживает смерть папы и мое горе всей душой. И всей душой хотел бы нам помочь, но... был он слишком далеко. — Она старенькая, и в этом проблема. Боюсь, это испытание она не выдержит...

— Передай ей привет и скажи, чтоб она держалась...

Привет я, конечно, не передала: кто такой для бабушки Тарас? Никто, и зовут его никак. Она о нем даже не слышала. В голове у нее один-единственный человек — ее сын и мой неудачливый отец. Безвременно ушедший в мир иной и оставивший ее один на один с холодной, нетерпимой жизнью. С жизнью, которая не щадит ни молодого, ни старого. Я понимала весь ужас бабушкиного положения и испытывала те же чувства — страх перед будущим и одиночество. От них не бывает спасения. Даже если сейчас, сию минуту в дверях появится Тарас и скажет: «Тебе тяжело, я приехал тебе помочь», все равно ничего не изменится, и мне не станет легче. Бывают состояния неизлечимые, я это поняла после смерти папы. И кроме того, мне было совестно. Совестно, что при жизни я папу только терпела, а не любила. А потом и терпеть устала. Мне хотелось свободы и легкости, как в детстве, но жизнь мешала, а не помогала их заполучить. Я упорно продолжала надеяться, но они все равно не приходили. Я не знала, как их вернуть, и чем они на самом деле были, и отчего приходят и уходят...

— Я приеду к тебе, — сказал Тарас на прощание. — Обязательно приеду. Сейчас не могу, надо зарабатывать деньги, пока лето. А осенью приеду обязательно. Хочу, чтобы ты знала: ты не одна, я с тобой. Люблю тебя и думаю о тебе...

Я плохо верила его словам. Мне даже не было приятно, что он кормит меня обещаниями, как и полагается любовнику. Думает обо мне, заботится. Хотя бы в мыслях... Наверное, я его не любила, а только хотела любить. Потому и не возражала, когда однажды вечером в старом моршинском парке он сказал, что хочет поехать со мною в Манявский скит и дорожные расходы берет на себя. Мне была приятна его предупредительность — женщине нравится, когда мужчина чуток к ее прихотям, иной раз смутным и неопределенным, и пытается их удовлетворить. Но сказал он о планах так торжественно, что я подумала: не заботишься ли ты о себе, мой милый? А сама сделала счастливый вид и вслух сказала:

— Буду только рада...

IV

Эту поездку я запомнила во всех подробностях, как и все, что происходило тем летом. Она случилась незадолго до папиной размолвки с Еленой и его неожиданной кончины. Тяжелые предчувствия мучили меня всю неделю. Я предполагала все что

угодно — автокатастрофу во время поездки, внезапную смерть бабушки, оказавшейся в одиночестве в ставшем для нее чужим городе. Со страхом и настороженностью поглядывала на светящийся дисплей мобильного телефона: не сигнал ли это беды? Но нет, трезвонила моя беспутная и безалаберная подружка Жанна Михайловская. Кричала в трубку, что безумно скучает, жаловалась на невыносимую жару, удушающий смог и что «жить так, как мы живем, нельзя». К тому же на нее «давит биосфера», и постоянно болит голова.

На мои возражения, что другой биосферы у нас нет, она брюзжала и завидовала:

- Вам хорошо, вы дышите чистым кислородом!
- Ничего хорошего. На эту «чистоту» у меня аллергия. Доктор говорит, в привычной среде это пройдет. Мечтать о Рае, конечно, хорошо, но боюсь, мы там не выживем...
- Ты все выдумала, чтобы меня утешить!
- Ничего подобного, приезжай, убедишься сама!
- Это вы, богатые буратинки, можете позволить себе ездить, куда захотите. А нам, нищете, оставляете самое худшее!
- Что ты хочешь сказать? — закипала я («тоже нашла олигархов!»). — Я тебя обкрадываю?

Жанна не на шутку завелась.

— Ты или не ты, но вам подобные! Отгрохали себе особняки, а нам оставили советские квартирки. Они же на ладан дышат! На ремонт нужны бешеные деньги, а их нет... И вообще, от нашей независимости выиграли одни богатые, — заявила она. — Беднякам и интеллигентам она не дала ничего...

— Постой-постой, — перебила я. — Давай по справедливости. Ты же знаешь, мы с отцом никакие не олигархи. Особняков у нас нет, живем в обычной квартире. А насчет независимости, это объективный процесс...

— Вы все прикрываетесь объективностью! Исторический процесс, право народов... Российские телеканалы отключили — и для кого создали проблему? Для нас, простых смертных. Вот тебе и «права народов»! Сами себе наставили спутниковых тарелок и в ус не дуете! Русскую драматургию из театров выдавливают, а вам все равно! Вы же в театр не ходите. У вас «тиви» с сотней телеканалов и Интернет. И смотрите все русское! А украинский телепродукт оставляете нам, быдлу... Если вы такие правильные, покажите нам, дуракам, пример патриотизма!

— Кто это — «вы»? — кричу я ей. — Почему ты меня в одну кучу с миллионерами сваливаешь!

— Да потому, что вы хорошо устроились! А вы покажите, как нужно любить Украину! Откажитесь от русского языка. От русских книг, спектаклей, песенок и фильмов. От газет и разговоров по-русски. От всего-всего, что напоминает Россию! Тогда я вам поверю. Не факт, что последую вашему примеру, но хотя бы буду уважать!

— Жанка, — простонала я, не зная, смеяться мне или плакать. — Жанка, убейся!..

Я на подругу не сердилась, понимала, что бабе нужно выговориться. Она хороший человек, но у нее пунтик: винить в своих бедах всех, кто хоть немного состоятельнее. Вообще-то, понять ее можно. По профессии Жанна театральная режиссер. Потолкалась после училища помрежем в Театре музкомедии, потом в Дrame, и ей объяснили, что на большее ей рассчитывать не стоит.

Потом пришла эпоха «исторических преобразований». Зарплату в культуре не платили месяцами. Жанна бросила театр и устремилась в «бизнес». Пристроилась к подруге, бывшему директору филармонии, создавшей культурно-коммерческий центр. Подруга обещала баснословные прибыли и бурную творческую деятельность. Первым и последним грандиозным мероприятием, организованным предприимчивой па-

рочкой, была выставка картин Куинджи из фондов Русского музея. Пронырливые дамы примчались в Петербург, собрали местную прессу и объявили Год Куинджи — была как раз юбилейная дата. Их принял директор, академик, и со слезой в голосе обещал привести выставку на родину гения. Подруги влезли в долги, заказали печатную продукцию и юбилейные сувениры. Взяли на себя расходы по транспортировке, охране и размещению бесценных сокровищ и в итоге — прогорели. Народу в день открытия пришлось много, но потом о выставке в городе забыли, сувениры не раскупались, пресса как в рот воды набрала. И через неделю выставку закрыли, хотя организаторы размахнулись на месяц. Алла Шляхтер продала фирму, выгребла с расчетного счета оставшиеся от уплаты долгов копейки и умчалась к родственникам в Австралию. Подальше от картин Куинджи и темной, неблагоприятной Родины. А Жанна... Целую неделю она переживала утрату денег и жизненных перспектив. Потом воспрянула духом: жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты.

Роль антидепрессантов сыграла ее собственная голова.

Жанна вспомнила неновую, но хитроумную схему мгновенного обогащения. Она ухаживает за одинокими, предсмертного возраста стариками и старушками с условием, что они завещают ей квартиру. Это было время подъема малого бизнеса. Квартиры на первых этажах жилых домов были в цене, и Жанна процветала, опекая и одновременно хороня трех-четырех доверчивых старичков. К ней наведались представители высшего бизнес-разума и посоветовали не валять дурака и уступить прибыльный Le-bensraum специалистам-профессионалам.

— Знаю я этих «профессионалов», — нервно покуривала, помахивая красивой ножкой, Жанна. — Это все наш мэр, подлец! Подмял под себя весь город! Разогнал похоронный бизнес, оставил только одну фирму, свою собственную, «Орфей». А теперь и старушек приватизировал! Я это так не оставлю!

— Что ты можешь сделать? — пожала плечами я. — Разве что на выборах его прокатишь. Но выборы далеко, и твой голос не решающий.

— Вообще, Нинка, демократия не для нас, — оживилась Жанна, набредя на волновавшую ее тему. — Нам нужен суровый тоталитаризм. Диктатура при полной экономической свободе. Иначе талантливые люди дорогу себе не пробьют.

— Бросай свои эксперименты и возвращайся в искусство! — вразумляла ее я. — У нас в музучилище открывается отделение актерского мастерства, как раз для тебя. Зарплата небольшая, но стабильная. Сколько будешь маяться, у тебя ребенок на руках!

— Какое «искусство»! — поморщилась Жанна. — Это все фантазии. Жизнь идет по другой колее, как сказал один фриц...

— Какой фриц?

— Ну — писатель. Немецкий.

— Значит, все-таки читаешь, — засмеялась я.

— Как и ты. Две дурочки-снегурочки, — засмеялась и Жанна.

Жанну мне безумно жаль, она беззащитна и беспомощна. Новые экономические реалии убивают благовоспитанных дев с первого выстрела. Над Жанной, кроме профессиональных забот, нависали мучительные личные проблемы. При хорошем муже женщина чувствует себя в относительной безопасности. Но у Жанны мужа нет. Почти как у меня. Но у меня его никогда не было, а у Жанны он был. И ребенок, пятилетний Денис, от него. Она выскочила за Валерку в Саратове, оба учились в театральном училище. Приехали на Украину по театральной бирже. Валерка заявил, что он — актер универсальный: поет, танцует и заколачивает чечетку. Вот ему и предложили Театр музыкальной комедии. А на деле он оказался ни рыба ни мясо. Пустое место, что для драмы, что для комедии. Из вокала у него хорошо получалась только «Девушка из Нага-

саки». С собственными добавлениями: «У ней, блин, такая маленькая гру-удь / И губы, губы, губы, губы алллые, как маки...»

Режиссеры обходили Валерку стороной, а потом и вовсе перестали его замечать. От безделья он запил, стал скандалить, и Жанна жаловалась, что жизнь у нее полосатая, как роба у пожизненно заключенного: ночью хорошо, а днем плохо. Но пока у Валерки была зарплата, они вдвоем кое-как существовали. Когда же его уволили из Музкомедии, а потом и из Театра драмы, а Жанну отодвинули от старушек, ребром встал вопрос: как жить дальше? Я уговорила папу ей помочь, и Жанну оформили в «Дельту» диспетчером в транспортный отдел: доставка в офис требующей ремонта техники и отправка отремонтированной по адресам.

Работала она неплохо, папа на нее не жаловался. А может, попросту забыл о ней, занятый более важными делами. Пожаловаться на плохую работу его протеже в «Дельте» не осмеливались, я и такой вариант не исключаю. Со мною Жанна вела себя ровно: не хамила, но и не лебезила. Но телефонная реплика о богатых буратинках меня насторожила: эти «буратинки», между прочим, кормят тебя и твоего ребенка! Валерку она выгнала, он околачивался неизвестно где. По слухам, бомжует, и бывшая жена о нем даже не вспоминала. Я представила Тараса, у которого не заладилось с работой, и задала себе вопрос: могла бы я вести себя так же бездушно, как Жанна? Даже заплакала, представив эту картину: несчастный Тарас, несчастная я, наш маленький несчастный ребенок... Мы оба от малыша без ума, это, конечно, мой ребенок, мой сынок! Я могла зачать его той ночью в мокром от росы парке или в тот незабываемый день, когда мы возвращались из Манявского скита. И тогда, как и сейчас, я дала слово никогда ни при каких обстоятельствах не соглашаться на предательство, наша любовь этого не переживет...

V

До сих пор испытываю волнение, вспоминая тот ставший таким далеким день.

Чудесно было все: легкость, с какой я пробудилась и вскочила рано утром. Необычно яркое солнце — оно заливало комнату счастливым, ослепительным светом, как будто выбралось из неволи. Да они и были неволей, три предшествующих поездке дня, — как из детского ведерка, лил мелкий холодный дождь, и никаких надежд на улучшение погоды не было.

Но в утро отъезда совершилось чудо: на чистом голубом небе, когда я подошла к окну и выглянула в парк, не было ни облачка. Лес, будто усыпанный мокрым стеклом, сиял, сверкал и дымился. Дождь, холод и тяжелая лесная мрачность словно приснились мне в дурном сне — за одну ночь все изменилось!

Лесная тропинка, полная павшей сосновой хвои, несла меня, как лодку под парусом, к традиционному месту сбора — административному флигелю с сетчатым ограждением и клумбой орхидей.

А вот и любимый, он уже здесь! Нетерпеливо переминается возле раздвоенной березы с веткой-шлагбаумом. Все в той же синей куртке... то и дело поглядывая на часы... ждет меня, волнуется!

А вот и я — бросаюсь ему на шею, не обращая внимания на попутчиков, угрюмых и невыспавшихся. Почему они не радуются солнечному утру, как радуюсь ему я?! Или Тарас, бессмысленно и радостно целовавший меня в лоб и шею....

Когда мы оторвались друг от друга, он строго взглянул на мою обувь: «Ты надела кроссовки?»

Ну, конечно, милый, надела, как же я могла не надеть, если ты меня об этом попросил!

О кроссовках Тарас предупредил еще с вечера, когда мы прощались, подробно, до мелочей обговорив завтрашний день.

«Ничего с собой в дорогу не бери. Все, что нужно, я прихвачу из дома: термос с чаем, шоколад... в дороге нужно питаться шоколадом, это калорийно и необременительно, — заявил он, как опытный путешественник. — А днем пообедаем в монастыре, монахи готовят очень вкусно. И главное, надень кроссовки, нам придется много ходить и подниматься в гору...»

И теперь на мне было все, что полагается носить страннице: кроссовки, легкая-прелегкая блуза и старые-престарые джинсы, в них хорошо валяться в густой траве. Монастырь, конечно, замечательная вещь, я давно хотела побывать в этом святом месте. Но не могла представить поездку без любви и без Тараса. Я мечтала о поцелуях и объятиях под карпатскими соснами, в густой безлюдной чаще, где в старину прятались от австрийцев разбойники Олексы Довбуша. Еще лучше целоваться под «смереками» — они представлялись верхом поэтичности, и наша любовь рисовалась такой же целомудренной, как любовь Тристана и Изольды.

Но я вынуждена признаться, потому что пишу эти строки в монастыре и обязана говорить правду: с нетерпением я ждала любви земной, плотской. Чтобы обязательно появился у нас ребенок, я очень его хочу. Мысленно глажу гладкую кожу на его ножках и ручках, целую шелковистый пушок на головке. Он — мальчик, я хотела только мальчика! — будет таким же темноволосым, как отец. И глазки будут такие же темные, внимательные и умные, как глаза Тараса — ведь с ними, его глазами, и пришла ко мне любовь к нему, когда я увидела его входящим в часовню Пресвятой Девы Марии.

Но чем больше я думала и мечтала, тем дальше отодвигались, туманнее становились Тристан с Изольдой, и на ум приходили другие персонажи — Норма и Поллион. Их трагическая любовь не выходила у меня из головы. Я знала, что я, римлянка, нарушаю законы моей страны, полюбив кельта. Вспомнила, тут же вспомнила рассказ папы, почему гитлеровцы позволили галицийцам служить в СС. Они считали их потомками кельтов. А кельты не имеют ничего общего со славянами! И вот я полюбила «кельта» и обрекла себя на судьбу Нормы. А несчастный папа Оровез ничего не знает о преступлении дочери! Наверняка, конечно, догадывается, иначе не отпустил бы меня в путешествие с Тарасом. Но догадываться одно, а знать — совсем другое. Да и догадки при полном молчании означают попустительство, а значит, и предательство.

Мысленно я посмеивалась над этими сложностями. Они не стоили выеденного яйца, и я весело встряхивала головой: какую же чепуху, девочка, ты несешь, ослепленная любовью! В памяти остались бесконечно длящийся солнечный лес, мелкие горные речушки, извиристо сверкавшие в ущельях, среди густого кустарника и глинистых обрывов. На них страшно смотреть с автотрассы. То и дело я ахала и прятала лицо в плечи Тараса, широкие и могучие. Как у Олексы Довбуша, защищавшего невинных и беспомощных. Я чувствовала, что сидевший рядом со мною и с улыбкой поглядывавший на мое, должно быть, испуганное лицо Тарас защищал меня даже в минуты спокойствия. И предчувствия такого счастья, какого никогда у меня не было и уже не будет.

В пути мы делали санитарные остановки посреди щебета лесных птиц, явственно и мелодично после многочасового гудения мотора. Одна остановка была совсем короткой, а другую Лариса Васильевна разрешила продлить: «Мы едем с опережением графика». Под соломенным навесом горной закуской съели по пахнувшему сладковатым дымком шашлыку и, сидя на высохшей траве, запивали никудышным кофе из пластиковых стаканчиков.

— Ехать осталось недолго, — сказал Тарас, взглянув в небо, синее и безоблачное. — Солнце перевалило за полдень, скоро приедем...

В дороге я задремала, так как стало жарко. Всех разморило, и под общее сонное сопение меня укачало, как ребенка.

Очнулась я от торопливых поцелуев Тараса.

— Открывай глазки, путешественница, — улыбался он, разглядывая меня, будто только что увидел. Это была его манера, которая мне нравилась: он смотрел, будто открывал во мне что-то новое и неожиданное.

— Мы приехали!

Автобус замер с выключенным двигателем, и, выглянув в окно, я спросонья сперва ничего не разглядела. Все тот же редкий высоченный лес со светлой трепещущей листвой, и — больше ничего. Туристы, наши спутники, не шумели, не галдели; все притихли, а женщины сосредоточенно повязывали косынками голову...

— Мы приехали? — не поверила я.

— Почти. Нужно еще немного пройти пешком...

«Пройти так пройти. К Богу не бывает легких путей...»

Мы подошли к подножию казавшегося высоким холма.

— О чем ты думаешь?

— О том, как все удивительно, — сказала я. — Даже не знала, что есть столько вещей...

Я не договорила.

— ...О которых ты раньше не догадывалась, — подхватил Тарас.

— Да, не знала. Не знала, что есть такая земля. И на этой земле — ты. И вы оба прекрасны — ты и твоя земля...

— ...А я думаю, какой удивительный день: мы одни, и мы — вдвоем. И вместе мы идем к Блаженному камню — начинаем нашу монастырскую жизнь отсюда. Вот послушай, — приостановился Тарас:

Горячий день — и вновь поспело жито,
И посветлела на деревьях крона.
Еще непонятый, непережитый
Счастливый день — моей судьбы корона.

И чем он будет — приступом экстаза,
Дыханьем смерти, чудом благодетельности?
Душа созреет, выплеснется сразу
Двойным напитком — меда и полыни.

А сердце — сердце не пьянеет разве
В счастливой доле и счастливой вере?
Мой день последний — мой последний праздник —
Предчувствие любви или потери¹.

...

Горячий день — і враз достигне жито
І доп'яніють обважнілі грона.
Він ще незнаний, ще непережитий
Єдиний день — мого життя корона.

¹ Перевод с укр. А. Николина.

І що це буде — зустріч, чин, екстаза?
Чи дотик смерти на одну хвилину?
Душа дозріє, сповниться відразу
Подвійним смаком — меду і полину.

А дивне серце — п'яне і завзяте
Відчує певність, мов нехибну шпаду.
Мій день єдиний! Неповторне свято!
Найвищий шпиль — і початок до спаду!

- Чудесные стихи!
— Это наша поэтка Олена Телига...
— Мне не нравится последние строчки. Я не хочу ни потерь, ни смертей, только любви!
— Так и будет, милая!
— Я не знала, что ты любишь стихи!
— Я все люблю, — покраснел Тарас. — Карпаты, стихи, музыку... тебя.
— Здесь можно целоваться?
— Можно, — засмеялся Тарас. — Пока мы не поднялись наверх. Там уже нельзя...
— Я поцелую тебя сейчас. И потом, когда мы поднимемся. Но это будет уже другой поцелуй.
— Если поцелуи твои, значит, они — одинаковые.
— Но с другим смыслом, — остановилась я и, обратившись к Тарасу, притянула его к себе. И в неторопливом, с закрытыми глазами поцелует растворилась в моем милом карпатском муже...

Наши спутники давно нас обогнали. По горной тропе мы поднимались одни, и каждый шаг давался тяжело. Чем труднее идти, тем ближе было лесное плато с монастырем и таинственным Блаженным камнем. Тарас поддерживал меня за талию, слегка подталкивая, если я задерживала шаг или останавливалась, чтобы перевести дух. Приятно было чувствовать его сильную руку, видеть заботливость и бережность, с какими он следил за каждым моим движением, не давая оступиться. Пели птицы, солнце вспыхивало меж ветвями, было светло и тихо, и я подумала: не были ли первые игумены монастыря поэтами, искавшими Рай земной?

— Теперь сюда, — сказал Тарас.

Он высвободил руку и по только ему видимым приметам повернул направо, где тропинки уже не было. Я покорно ему повиновалась. Так или иначе, жизнь для женщины — дремучий лес, дороги в котором и выходы из него знают только мужчины. Мысль совершенно не современная, но оттого, что она так архаична, я еще сильнее любила Тараса, уверенно пролагавшего путь сквозь спутавшийся кустарник.

— От монастыря к Блаженному камню дорога удобнее, но длиннее, — сказал он. — А так выходит короче... Мы придем к нему раньше наших спутников, вот увидишь.

Проплутав некоторое время в непроходимых зарослях — такими, впрочем, они казались только мне, ничего не знавшей и не понимавшей, — Тарас остановился на открявшейся горке и с облегчением вздохнул:

— Вот и Камень...

Я взглянула с любопытством.

Внизу, окруженная елями и лиственницами, вся в мелких солнечных пятнах, высилась каменная громада, напоминавшая большой естественный навес. Она была мокрая от сочившейся с нее воды. Вероятно, источник, скрытый мелкой листвой и мохом, находился неподалеку. Крупные холодные капли падали с неровного свода, ру-

чейком стекали по мерцающим изгибам, теряясь у подножия. Внизу было устроено что-то вроде лотка, чтобы вода скапливалась, и можно было умыться и набрать ее в мелкую посуду.

— Пойдем, — потянул меня за руку Тарас.

Он подвел меня к Камню, и мы остановились под его навесом.

— Сделай вот так, — попросил Тарас, беря мою руку.

Он приложил мою ладонь к мокрому холодному своду — моя голова почти его касалась — и приставил к моей руке свою. Я чувствовала, как по ладони побежала струйка воды. Такая же струйка потекла на голову, от макушки за шею, а потом и по лицу. Я стояла будто в слезах, и мне действительно хотелось плакать, как во время церковной службы, — то ли от счастья, не то от будущего горя, о нем я ничего не знала, но уже предчувствовала.

— Обещаю тебе, — сказал Тарас, прикладывая наши руки к условному потолку Камня, морщинистому, холодному и мокрому. — Обещаю любить тебя вечно. Не изменять тебе и не помышлять об измене, как бы ни складывались обстоятельства. Обещаю умереть в тот же день и час, когда ты уйдешь из жизни, моя любовь, моя кохана...

— Я тоже обещаю тебя любить, — пробормотала я, чувствуя себя дамой из средневекового эпоса.

И отчего-то мне стало тяжело и неловко...

VI

...Прошло несколько дней после папиных похорон, как вдруг позвонила Екатерина Алексеевна Фомина.

— Как ты себя чувствуешь, детка? — проскрипела она. — Завтра девять дней Олегу Леонидовичу, мы устраиваем поминки. Собираемся узким кругом. Стол накроем в кабинете Олега, думаю, ему это будет приятно. Приезжай, поговорим.

Я сказала, что о поминках даже не помышляла. На руках у меня бабушка с острейшими сердечными болями, и, бывает, в день по два раза приходится вызывать «скорую». Доктора — однажды это был немолодой, простоватого вида мужчина в халате не первой свежести, потом полная женщина с неприятным лицом и ярко накрашенными губами, — сняв кардиограмму и покачав головой, в один голос посоветовали серьезно бабушку лечить. «Если не хотите проблем», — смерила меня недоброжелательным взглядом докторесса...

Проблем я не хотела, но лечить бабушку в ее состоянии непросто. Нужно везти ее на прием в поликлинику, но об этом даже страшно подумать: дорогу бабушка не перенесет. А еще выстоять утомительную очередь к районному терапевту, посетить (в лучшем случае, а в худшем — получить талончик на конец месяца) врача-кардиолога. И снова поход к терапевту... Такие испытания даже здоровый человек не выдержит. Я вспомнила старую советскую шутку: чтобы в нашей стране лечиться, нужно иметь железное здоровье.

— Что ты мучаешься, — воскликнула на мои жалобы Жанна. — Есть клиника быстрой медицины. С госпитализацией. Больного привозят, диагностируют и оформляют в стационар. Клиника частная, но ведь с деньгами у тебя нет проблем. Или есть? — уперлась она в меня взглядом.

В том-то и дело, что проблемы были. Папин счет в банке заблокирован, и чтобы переоформить деньги на мое имя, нужно время и услуги нотариуса.

Времени у меня не было, на нотариуса тоже нужны деньги, а в кошельке пусто. Бренчала мелочь из отпускных — на хлеб и на воду.

— Поговори с бухгалтершей, — яростно дымила сигаретой Жанна. — Она не откажет, ты же законная наследница фирмы!

Никакой наследницей я себя не чувствовала. Мне не верилось, что фирма «Дельта» — мое достояние, моя собственность. Вместо радости меня одолевал страх: что я буду делать с папиным хозяйством? В компьютерах, компьютерных технологиях и в управлении персоналом я ничего не смыслю! Дело это не мое, и фирма, если честно, мне абсолютно не нужна. Ко всякому «бизнесу», производству, цифровым технологиям — ко всему, что сладко кружит голову молодым и немолодым претендентам на жизненный успех, я совершенно равнодушна! Гуманитарное настоящее не позволяло мне надеяться на блестящее капиталистическое будущее. Но когда я пыталась разобрататься, что же в конце концов мне требуется, ведь нужно иметь в жизни какую-то цель, ориентиры, то ничего не могла припомнить. Ни представить, ни даже выдумать, чтобы добавить к чувству безнадежности хоть каплю радости!

— Не боги горшки обжигают, — пыхнула дымом Жанна, и я поразились, как ходульные истины могут утешать и внушать оптимизм. Наверное, потому, что они избиты — все тривиальное имеет над людьми почти божественную власть. — Возьми президентов Жоржа Помпиду и Франсуа Миттерана, — припомнила она несусветную древность. — По образованию оба филологи, а какую карьеру сделали! Прояви решимость, и все у тебя получится, — смяла сигарету в пепельнице Жанна. — Пойду, у меня еще куча дел...

«Если бы на самом деле все было так, как ты говоришь, — уныло (и молча) дискутировала я, провожая Жанну до двери. — Если бы все в жизни складывалось, как тебе представляется, я бы и горя не знала. По-настоящему владеть фирмой должна не я, а Жанна. Но этим несчастьем папа одарил меня. И всю жизнь я обречена тащить на себе этот мешок гнилой картошки. Может, продать фирму? — закралась трусливая мысль. — На кой ляд мне эти димы, цукерберги, екатерины алексеевны...» Меня выворачивало от сознания, что каждый день я буду видеть их лица, общаться с ними, вести дела. Отмечать корпоративы... Боже, за что я так не люблю людей! Точнее, люблю, но в отдалении. Я должна удалиться, чтобы почувствовать к ним любовь.

И только Тарас в этой цепочке выглядел исключением. А может, и не исключением, — вспомнила я свои мечтания и томления. Чем дольше длилась разлука, тем неистовее я любила Тараса; неистовее, чем в самые сладкие минуты близости.

Жанне, конечно, я обо всем рассказала. Она за меня порадовалась: «Наконец-то ты сбросила это ярмо!» В смысле — лишилась застарелой девственности. Моя до неприличия затянувшаяся добродетель мне и самой казалась постыдной; добродетель, которая хуже порока...

Потом Жанна стала нахваливать западных украинцев, какие они позитивные. В смысле веры, семейных ценностей и вообще всяческой порядочности. А под конец — это в характере Жанны, начинать во здравие, а заканчивать за упокой! — принялась меня стращать их национальными особенностями.

— Ты подумай. Подумай, как вы будете венчаться. Вы же разной веры! А веру менять — грех.

— Как-нибудь устроимся, — смеялась я.

— Ты не шути!

И, горделиво затянувшись сигареткой, продолжала нагнетать:

— Допустим, вы обвенчаетесь по униатскому обряду — у них это строго, без венчания брак считается недействительным. Потом повторите обряд по православному — я слышала, так делают. А когда пойдут дети? В какую веру будете определять детей? Нинка, это же трагедия!

И она в ужасе шурила маленькие, тусклые глазки.

— Думаю, мы разберемся, — пробормотала я.

Я и сама не знала, что с нами будет. Когда мы поженимся, обвенчаемся, и у нас появится ребенок. Это было так далеко, что казалось неосуществимым. А до детей бу-

дет еще знакомство и привыкание к семье Тараса. Как она меня примет, ведь я не укладываюсь в их представления о женщине! Тем более о замужней женщине. У них женщина — хозяйка, работница. А я? Ну какая ты работница, — вздыхала я, разглядывая слабые, худосочные руки с длинными пианистическими пальцами. Они непригодны для иной работы, кроме игры на рояле и перелистывания книг. Мои запросы — музыка, вернисажи, литература, отказаться от этого я не смогу и на свинарник в Моршине не променяю. Тарас, конечно, терпеливо объяснит матери, кто я такая, из какой семьи, какого образования и воспитания. А меня исподволь станет приучать к ведению дома. А потом и всего обширного родительского хозяйства. Но рано или поздно противоречия дадут о себе знать. И неизвестно, на чью сторону, мою или родителей, встанет мой муж. Имелся, правда, запасной вариант. Можно ловко и без обострений поменять судьбу: я становлюсь хозяйкой «Дельты» и устраиваю на работу Тараса. Ну, хотя бы на должность технического директора, он же компьютерщик, это его стихия. Не я к ним, а он переезжает к нам на постоянное жительство. Со временем обрусееет, исчезнет двоедушье в вопросах языка и веры, и детей не придется разрывать между двумя конфессиями. Да, мечтала я, это было бы славно! А в Галицию будем ездить всей семьей летом в отпуск — погостить у бабушки и дедушки...

Картина будущего вырисовалась такая идеальная, что мечтать о точном исполнении было бы непростительной ошибкой: планы никогда не совпадают с конечным результатом. Но как сладки эти мечты, как много они обещают! Я не знала, что жизнь ведет со мной свою игру и за все нужно платить, иногда очень высокую цену.

Когда позвонила Фомина и сообщила о поминках, я растерялась, а потом обрадовалась. Можно обо всем с нею поговорить или, по крайней мере, прощупать почву. Я знала, какую роль она играет в жизни фирмы, по сути, была папиной правой рукой. Но я даже не догадывалась, что роль ее слишком велика...

— Так я и знала, — саркастично усмехнулась она, когда я сказала, что хотела бы приехать в офис, но у меня нет денег на такси. Фирма расположена вдали от популярных троллейбусных и автобусных маршрутов, и добраться туда непросто. Это одно из чудачеств папы: не приближаться к потенциальному клиенту, как принято в деловых кругах, а удаляться на максимальное расстояние.

«Труднодоступность подогревает интерес», — усмехался папа. Мне всегда казалось, что в его умозаключениях много остроумия и мало практического смысла. После выхода в отставку он ко всему на свете относился с пренебрежительно-шутливой легкостью — к жизни, работе, к моему воспитанию, какового, надо признаться, не было вовсе. Насколько я понимала папу, главным в воспитании дочери он считал отсутствие обязательности. Я росла (и выросла) независимой и свободной, и душевный мой сосуд был совершенно пуст. Как может быть пустым кувшин, наполненный воздухом. Что давало возможность появиться чему-то невероятно сложному и полезному и в то же время устраняло всякую возможность такого появления. Боязнь навязать свое мнение, заострить на себе внимание приводили к тому, что папа терялся в подборе самых простых слов, чтобы объяснить мне, ребенку, то или иное явление или нравственный аспект. Я легко меняла взгляды, мои вкусы, как бытовые, житейские, так и эстетические, тоже постоянно менялись. То я люблю Пуччини, то увлекаюсь Шнитке и Губайдулиной или же люблю одновременно всех. Мне казалось, что в неразрешимых противоречиях жить невозможно. Требуется указующая стрела, отрицающая все лишнее и уверенно летящая к заданной цели. Жажда цели была так велика, что я с головой ушла в любовь к Тарасу, она-то и казалась мне пресловутой стрелой...

— Детка, такси не проблема, — проскрипела в трубку Екатерина Алексеевна, и на завтра за мной прибыла папина светлая «тойота».

Водитель Володя, маленький черноусый грек, сказал, что теперь на ней ездит заместитель директора Ярослав Владимирович. У папы «тойота» была рабочей маши-

ной. Для представительских поездок он пользовался «мерседесом», но выезжал на нем в редких случаях: на подписание контракта с крупным предприятием, в командировку в Киев или на совещание в мэрию. Время от времени мэр, молодой глуповатый умник в огромных очках, собирал директоров частных компаний и тряс их на благоустройство города. Папа со всеми затеями власти безропотно соглашался, но дома за обедом ворчал: «Эти с... дети разворовывают бюджет, а недостачу покрывают за мой счет!» Но в общем он терпимо относился к любой власти, к тому, что все время она ворует и меняется только персонально. Сегодня у руля Кучма, завтра — Ющенко, теперь вот — Янукович. И все требуют от бизнеса денег как плату за снисходительность. Папа никому не отказывал: «Так спокойнее», — пожимал он плечами, когда бабушка ворчала и возмущалась: «Они бессовестные грабители! Самые настоящие мародеры!» — «Ничего не поделаешь, — хладнокровно парировал папа. — Украина — страна перманентного грабежа!»

Моя подруга Жанна к теме коррупции добавляла и свою каплю дегтя.

— Олег Леонидович такой интеллигентный, как он может?! — ахала она.

— Что — может? — напрыглась я.

— Как — что? — круглила Жанна свои с трудом поддающиеся округлению глазки. Взносы в фонд Катки Ющенко платил? Платил! Она же бандеровка! Знаешь, какое у нее прошлое!? У нее и ее семьи?! В сети гуляет фотка, где она, еще девушка, зигует в Штатах! А теперь твой папа отстегивает Янику! Где принципиальность, Нина?!

— Что прикажешь делать? Будешь сопротивляться — останешься без бизнеса! Вот и приходится мимикрировать!

— Вы, богатенькие, — митинговала Жанна, — присвоили не только материальные, но и духовные богатства. А нас, нищету, пичкаете патриотизмом!

— Жанна, ты совсем не нищета! И в «духовных богатствах», как я погляжу, не сильно нуждаешься!

— Хочешь меня оскорбить?

— Ты не так поняла!

— Я правильно тебя поняла! — раздула ноздри Жанна. «Сейчас вскинется и хлопнет дверь, — подумала я. — И опять я останусь одна...»

Внутри у меня все кипело и плакало. Как она может плохо думать о папе! Отец — русский человек и офицер. Он не одобрял бандеровщину, национализм считал душевной болезнью, нравственной порчей. Не его вина, что все так резко и необратимо изменилось. Страна, где мы оказались по воле случая, стала совсем другой. Изменились жизненные и нравственные установки, возможности для выживания, — раньше мы жили, а не выживали. Теперь нам предлагают состязание: кто сильнее, проворнее и беспринципнее, тот останется цел и невредим и получит свою порцию бонусов. Как римские гладиаторы похлебку из рук скупого ланисты...

Для нас — меня и папы — таким кровопийцей-ланистой стала эта страна. В мгновение ока возненавидевшая нас с такой же силой, с какой прежде любила. Как и мы любили ее, а теперь ненавидим...

VII

За столом меня усадили между Екатериной Алексеевной и Ярославом Владимировичем. Папиного зама я знала по своим набегам на фирму: высокий, длиннолицый, неприветливый, он казался человеком себе на уме. Почему я так решила? Да потому, что все время он молчал. Молча выслушивал папины указания. Помалкивал, когда папа делал ему внушение, — деликатный папа, который всем говорил «вы» и стеснялся, несмотря на офицерское прошлое, прикрикнуть на оплошавшего подчиненного! А он послушно, как мальчик, кивал головой...

— Ярослав — хороший специалист, — не соглашался папа. — Но он всего лишь исполнитель. Если поставить задачу, он правильно и четко ее решит. Без ошибок, конечно, не обойдется, но надо отдать должное, они у него редки. Не смотри, что он похож на теленка, с подчиненными Ярослав суров...

Папа улыбался, потому что я знала его административную черточку: приглашать в заместители людей более жестких, чем он сам.

Папа, я уже говорила, в прошлом офицер. Но офицер не строевой, а, если можно так выразиться, интеллектуальный. От армии у него только погоны на плечах. Все остальное — аналитический ум, мягкий характер, усидчивость, переходящая в отрешенность, — сугубо штатского свойства. Ученый в нем преобладал над солдатом. Я удивлялась, как он умудрялся с таким набором ценностей руководить фирмой, где каждый сотрудник знает себе цену.

Точки над *i* в моем понимании папиного метода расставила Екатерина Алексеевна.

Поминальный обед прошел чинно, даже скучновато. Все прятали глаза и во время тостов в адрес покойного угрюмо вздыхали, как будто на их плечи ложилось невыносимое бремя. Позже я поняла, что дело не в папе и не в безутешном горе, в которое, как я наивно полагала, впали папины соратники. А в том, как они представляли себе будущее фирмы и свое собственное без старого хозяина.

Но обо всем по порядку.

После пятой рюмки Екатерина Алексеевна объявила перерыв. Все оживились, задвигали стульями, потянулись за сигаретами. Часть гостей отправилась в курительную комнату — папа не курил и терпеть не мог, когда дымили в коридоре или в служебных помещениях. Самые раскрепощенные — Екатерина Алексеевна была негласным вождем этого узкого круга — остались за столом. Официантка принесла кофе, и они разговорились. Я собралась выйти, чтобы размять ноги, но Екатерина Алексеевна меня придержала.

— Погоди... Погуляйте, друзья мои, — благодушно сощурила она серые мутноватые глазки.

— Завтра банковский счет Олега разблокируют. Я связалась с управляющим банком, он наш человек, — сказала она, поправив тяжелую складку на белоснежной скатерти. Она мало пила, почти ничего не ела, и вид у нее был усталый. — Оформила все, что нужно, твои данные в компьютере есть. От тебя я ничего не таю. Сумма на счету Олега была небольшая — сто десять тысяч долларов. Он не любил копить деньги. После вычета долгов и уплаты личных обязательств осталось пятнадцать тысяч, эти деньги принадлежат тебе. Твой папа был щедрый человек и многим помогал. Одним оплачивал зубное протезирование, другим — дорогостоящую операцию в Израиле или Германии. Третьим — обучение их чад в университете. Он не использовал доходы фирмы, не хотел забираться в кошельки персонала, который сам же подбирал и возвращал. Тратил на благотворительность собственные средства. Хорошо это или плохо — не мне судить, он хозяин, ему виднее. Кстати, о хозяевах... По завещанию Олега Леонидовича — ты знала, что он оставил заверенное нотариусом завещание? Не знала? Странно... Согласно его завещанию, фирма «Дельта» после смерти владельца переходит в мою собственность. Вижу, что не веришь... Можем пройти в бухгалтерию, — пожалала она плечами, — я покажу тебе копию. Оригинал, разумеется, в банковской ячейке... Не желаешь? Ну, как знаешь, — вздохнула она и подлила себе кофе.

Я машинально отметила, что кофе давно остыл и пить его ей не хочется. Надменное выражение лица говорило, что кофейничает она просто так, не думая о вкусе. И думает, как легко и просто она решила проблему наследницы. Ибо убеждена, что лишь она имеет право на фирму «Дельта». «Но без папы, — с ужасом подумала я, — операцию с завещанием проделать было невозможно! Значит... Боюсь говорить и даже думать.

Но вероятно, папа чувствовал себя обязанным этой женщине, потому и решил оставить меня без наследства. И что теперь я буду делать одна — без мужа, без папы и его поддержки. И... без копейки денег! Нищенская зарплата в училище не в счет... Нет, — стала закипать я, — все-таки папа отдал фирму не женщине. А злобной, расчетливой, бесполой даме». Я не должна так думать и говорить о ней плохо, — стала убеждать я себя. В монастыре нет места недоброму и суетному, с этим я распрощалась навсегда. Но нет-нет да и вспомнится тот день и поминальный обед, протекавший не как прощание с папой, но как самоутверждение Екатерины Алексеевны. Ее сухая, равнодушная речь, холодный взгляд...

Меня одолела оторопь. Оторопь от чудовишной низости, на какую способна эта дама. От моей беспомощности, неспособности что-либо изменить. И, как костерок в мокром лесу, разгорался и жалобно потрескивал огонек долго тлевшей ярости. Я гасила его всеми силами души и просила Господа облегчить мне жизнь, лишив меня памяти. Но я понимала, что мои мечты нереальны...

Возвращалась я домой с помощью того же черноусенького водителя папиной «тойоты». За столом его не было, там сидела «элита», и Володя долго и упорно молчал с обиженным видом.

— Ты как, — наконец поинтересовался он, — наведываться на фирму будешь?

— Кто я теперь такая? — пожалала я плечами. Вид у меня, наверное, был обиженный, как у Володи, потому что он сочувственно кивнул, типа «понимаю»...

— Кто я такая, чтобы наведываться к этой дряни? — не выдержала я, злая, как осенняя муха. — Хочу поскорее забыть сюда дорогу.

— Ты на нас зла не держи, люди здесь ни при чем. Мы сами с Катькой мучаемся. Твой отец — только ты не обижайся — контроль за персоналом поручил ей, а сам устранился. И занимался только техникой. Вот Катька и давила из нас все соки. Кто во сколько пришел на работу, во сколько ушел. Сколько получил, сколько переполучил, — все больше раздражался Володя. — Кто за бильярдом бездельничает, кто пьет пиво в рабочее время... А Ярослав у нее на побегушках: на кого она укажет, того он и ест поездом... Катька на фирме знала все. И обо всех. И докладывала хозяину. Но докладывала для проформы, потому что решение по каждому случаю принимала она лично. А Леонидыча только ставила в известность. Да и то не всегда, — махнул он рукой. — Помнишь, в call-центре у нас Валя работала — худенькая такая, белокурая. Она забеременела, и Катька допекла ее так, что Валентина не выдержала и в слезах уволилась. Пилила ее каждый день по поводу и без повода, лишь бы она ушла по собственному желанию: беременная женщина для фирмы убыток.

— И отец ее фокусы терпел? — с сомнением покачала я головой.

— Ты, конечно, извини, я думал, ты в курсе. А получается, ты ничего не знала, — крутанул баранку Володя. — Катька была любовницей Леонидыча. Давняя, они вместе начинали бизнес. Вот она и сколотила состояние. Может, тайно, а может, и явно, мы этого не знаем. Детей — у нее сын и дочь — по ходатайству Леонидыча пристроила в Киев, в Университет экономики и права. Купила им квартиры на Оболони, в элитном доме. И когда твоего отца не стало, заграбастала всю «Дельту»... Я думал, ты знаешь, — сумрачно вздохнул он...

Мое сердце разрывалось от тоски, когда мы подъехали в темноте к дому. Я попрощалась с Володей и хлопнула дверцей папиной — теперь уже не папиной! — машины. В последний раз! Последний раз я вижу эту машину и папиного усатенького водителя. С ними уходит, обрывается часть моей жизни, казавшейся такой безоблачной. Что было внутри и за кадром меня не интересовало. Папа оберегал меня от ненужных подробностей, справедливо полагая, что они испортят мой характер и мою жизнь. И вот теперь все выползло наружу...

Отпирая входную дверь и входя в полутемную прихожую, я подумала, что Володя не прав, осуждая отца. Все, что он делал, он делал для того, чтобы сохранить фирму и людей. Своим неумением жить я бы разрушила все, что он создавал с таким трудом и тщанием. Он обезопасил меня от жизни, какую он сам был вынужден вести. В сущности, спасал меня, жертвуя собой. Что теперь с успехом проделываю и я, заперев себя в монастыре. И то, что я вспоминаю и заново переживаю прошлое, делает мою жизнь не то что счастливой, а... просто хочется без конца ее вспоминать и плакать...

VIII

Утром, пробудившись, я сразу заподозрила неладное: в квартире царила тяжелая, непривычная тишина. За окном не стрекотали сороки и не перелетали с дерева на дерево с томным стенанием пепельно-серые горлинки. Не слышно бабушкиного утреннего покряхтывания и неторопливого шарканья шлепанцев, когда она переходила из комнаты в кухню, а потом опять в комнату. Завтрак по многолетней привычке бабушка готовила себе сама, обедала она тоже без меня.

После раннего завтрака в одиночестве я уехала в училище, и бабушка весь день была предоставлена самой себе. Что она делала, чем занималась — я только догадывалась. После завтрака, пока ее силы по-утреннему свежи, она убирается в комнате. Перестилает или заменяет постель, вытирает пыль на книжном шкафу — Гончаров, Тургенев, Анатолий Франс, Пруст, Чехов... ни одной современной книги, одни раритеты. Подметает по старинке веником ковер: пылесос, как и все новое, бабушка не признавала. Управившись с уборкой, проветривает комнату, открывая окно зимой на полчаса в любую погоду, а летом оно отворено круглые сутки, — папа ставил противомоскитную сетку, и нашествия комаров можно было не опасаться.

Пока комнату бабушки наполнял благотворный утренний воздух, она пьет на кухне чай с медом, яблоками или смородиновым вареньем. Потом что-нибудь подшивает или перешивает из старых вещей. Вяжет на зиму теплые носки для себя и для меня — все детство я проходила в школу в бабушкиных носках. «Какая сейчас обувь, — ворчит бабушка, — клееная бумага, только простуду подхватишь». И сейчас, когда я стала взрослой, в мороз и ненастье меня спасают толстые и теплые бабушкины носочные изделия...

После обеда — ест она чуть-чуть: немного супу, блинчики с повидлом, бабушка сама их готовит, моюстряпню она не жалуется. Или необыкновенно ароматные и вкусные паровые биточки, приготовленные по особому рецепту — «его мне мама передала», — гордо приговаривала бабушка, когда мы с папой их нахваливали.

За рецептом прославленных биточков к ней хаживали соседки дальние и близкие: «Полина Ильинична, поделитесь секретом!» И она никому не отказывала. Полдня рассказывала, как их приготовить, чтобы семья вспоминала их вкус и аромат до Нового года. У нее поговорка была такая: приготовить что-нибудь необыкновенно вкусное и редкостное, «чтобы помнили до Нового года».

У бабушки и подруга завелась «биточная» — соседка Сима из второго подъезда.

Эта Сима, переселенка из Казахстана, годилась бабушке в дочери. Бабушка ее пригостила из-за ее тяжелой судьбы.

Сима с мужем жили в городе Алма-Ата. Муж работал инженером на предприятии, где производили какую-то электропродукцию, а Сима — воспитательницей в детском саду. Жизнь текла размеренно и ровно, то есть — хорошо. Летом они ездили отдыхать в Крым, а зимой — в горы Алатау, кататься на горных лыжах. Василий был заядлый спортсмен, он и Симу заразил здоровым образом жизни, и по утрам она бегала в парке перед тем, как отправиться в свой детский садик.

Все изменилось в их жизни после 1991 года. Русских в Казахстане стали увольнять с предприятий, где они занимали руководящие посты. И передавали эти посты, как эстафетную палочку, казахам: пришла пора воспитанникам потеснить своих воспитателей.

В детском саду Симы тоже ввели новые порядки: языком общения утвердили казахский. Никто к этому новшеству не был готов — ни русские дети, ни их родители и воспитатели. Жилплощадь в столице тоже распределялась по-новому: приоритет в получении квартиры отдавали местным. Они занимали новенькие квартиры в многоэтажных домах вместе со своей многочисленной родней; в гостиной ставили юрту и пили всей кучей чай. Русских еще держали на предприятиях в качестве рабочей силы, но по всему чувствовалось, что скоро их потеснят и с рабочих точек.

«Казахи, — жаловалась Сима бабушке, когда они пили чай, — так задрали нос, что перестали здороваться. „Русский, айда домой!“ — махали рукой, услышав русскую речь.

И потихоньку все наши потянулись в злополучную Русь. Сначала уехал инженерно-технический персонал, потом учителя и преподаватели высшей школы. А за ними пустился и наш брат помельче. Уезжали большей частью к родственникам. На пустое место срывались редко, только в тяжелых случаях. Многие выбирали Украину — все-таки братский народ, ужиться с ним будет легче, чем с казахами.

В России у нас никого нет, некому было помочь на первых порах. А на Украине у Володи жила двоюродная сестра, вот мы и решили ехать к ней, не стали ждать, когда попросят силой. Детей у нас нет, хоть в этом смысле было легче. Накопленные в Казахстане деньги отдали за двухкомнатную квартиру, муж устроился временно, пока не подыщет что-нибудь приличное, электриком в домоуправление. А я завела магазинчик канцтоваров; так и устроились, взяли, что само шло в руки. Думали, обживемся, притремся, а дальше видно будет. Если дела пойдут хорошо, останусь хозяйкой магазина, а нет — уйду в детский садик, хоть это и сложно: от воспитателей все больше требуют общаться с детьми на украинском языке, а я его совсем не знаю! Вообще, Полина Ильинична, — грустно покачала головой Сима, — похоже, сейчас на Украине начинается то же самое, что мы пережили в Казахстане. Местные от вас — от нас! — ни за что не отстанут. Дай бог, чтобы наезжали помягче, не сразу брали за ворот. Если дадут время, мы и сами обтешемся, приспособимся, русские — народ податливый, как раскаленное железо. Гни его в любую сторону — из одного и того же куска можно изготовить и саблю, и плуг... А за рецептики спасибо, в Казахстане так даже спросить было не у кого...»

И бабушка, пустив слезу от Симиного рассказа, щедро отваливала ей полкастрюли знаменитых биточков — что с того, что семья не доест, была бы чужая страдальца накормлена!

Я восхищалась бабушкиным умением готовить, сострадать первому встречному, рассказывать на ночь сказки, делиться воспоминаниями о прошлой жизни, — она неизмеримо богаче и поэтичнее жизни нынешней. Ко всему на свете причала относиться спокойно и мирно, с тихой, незаметной любовью. Оттого что сама я лишена этих качеств, они казались необыкновенно притягательными. Я завидовала бабушке, что она добрее, терпеливее и мягче меня и даже папы — образца терпимости и снисходительности. Я понимала, откуда у него эти качества — конечно, от бабушки, — и тайком горевала, что они не перешли по наследству ко мне...

Когда прибегает Жанна, бабушка, услышав ее голос, вливается в гостиную с гордо поднятой головой. А за нею, как престарелый паж, бредет золотисто-рыжий спаниель Дарлик с домашними тапками в пасти. Бережно складывает их у ног Жанны, довольно ударяет в пол хвостом и укладывается рядом, положив голову на лапы. А бабушка усаживается в кресло и принимается дотошно расспрашивать Жанну о ее делах.

Дела моей подруги, собственно, интересовали ее мало, для нее они только повод поговорить о жизни и дать пару советов, чтобы мы выслушали их и забыли. Самая актуальная тема — необходимость для Жанны нового брака, бабушка на нем настаивала, как будто от этого зависела ее жизнь.

— Негоже молодой женщине быть одинокой, — наставительно произносила она, и лицо ее принимало неприязненное выражение. — Найди хорошего человека, и жизнь сразу наладится. Забудутся неприятности и неудачи, и все у тебя станет получаться — и с работой, и с отношением к жизни. Я вот своей, — кивнула она в мою сторону, — говорю о том же. Познакомились — и быстренько оформляйте отношения, чего он ждет, твой карпатский Ромео?

Строго взглянув, бабушка принимается ворчать и наставлять, забыв о госте, с любопытством слушавшей ее монологи.

— Он, бабушка, далеко, — оправдываюсь я. — Приехать не так просто, у него забот полон рот.

— Если любит, — как ножом отрезала бабушка, — не приедет, а примчится. А коли ищет оправдания, значит — не любит!

— Любит, любит, — смеялась я, а у самой сердце щемило: а вдруг и вправду Тарас меня разлюбил. И только ищет повод, чтобы со мной расстаться?

— Ну, ты ему так и скажи. Когда он позвонит. Скажи, баба Поля велела вам немедленно определяться. А то помру и не увижу, как внучка замуж выходит. Вынянчила ее вместо матери-покойницы, хочу увидеть результаты своих трудов!

— Веселая у тебя бабуля, — смеялась Жанна, когда бабушка, посидев с нами и поболтав, тяжело вставала:

— Пойду отдыхать, девочки. Устала я, от разговоров у меня сердце колыхается. Пойду...

И, шаркая и побряхтывая, бабушка отправляется в свою комнату, и через минуту оттуда уже доносится слабое похрапывание...

IX

Не дождавшись бабушки к завтраку, я вошла к ней в комнату. Бабушка лежала на спине, как живая. Только строгое лицо казалось еще строже и значительнее. Тело вытянулось, как струна, и я впервые заметила стройность ее осанки и горделивую красоту, ее не могли поколебать никакие несчастья.

Я мало знала о жизни бабушки, никогда ею не интересовалась, молодых людей не увлекает судьба близких. Знала, что бабушка вместе с папой забирала меня из роддома. Нянечка, вынесшая в приемный покой пакет с младенцем, заколебалась, кому его передать — мужчине или стоявшей рядом пожилой женщине? Бабушка решительно выступила вперед и подхватила белоснежное одеяльце с красным морщинистым личиком. «Буду девочке вместо матери...» — повторяла она, когда они ехали в такси домой. И во время моего детства, а потом и взросления мама и бабушка были для меня одним лицом...

От горя или привычки к нему — я еще не отошла от папиных похорон — ни дома, ни на кладбище я не плакала. Тяжелый ком в груди не давал дышать, но рассудка я не теряла. Вызвонила вечно занятую несбыточными проектами подругу:

— Жанна, бабушка умерла...

В мгновение ока она была у меня.

— Чем помочь? Вызвать врача для освидетельствования? Заказать похоронные услуги? Говори, что?! — тербила меня она.

С помощью Жанны я сделала все необходимое быстро и легко.

Похороны прошли тихо и грустно. Народу было немного: две-три соседки, бабушкины подруги по работе в школе да мы с Жанной.

В кладбищенской конторе, куда мы направились — одна бы я ничего не добились, — Жанне удалось выклянчить место возле папиной могилы.

— Бабушка за гробом не простит, если мы похороним ее вдали от папы, — повторяла я на протяжении всего этого хмурого и тягостного дня.

И только после того, как приехали домой, я перестала повторять эту фразу. На душе отлегло, потому что свой долг перед бабушкой я выполнила...

Легла отдыхать, а вечером позвонила Тарасу. Все ему рассказала, и он стал меня утешать. От звука его голоса я заревела, как ребенок, и отключилась: говорить с ним у меня не было сил...

Жанна сидела со мной до самых сумерек: поила горячим чаем, был уже октябрь. Становилось холодно, с утра еще солнечно, а во второй половине дня напоздали тяжелые осенние тучи и поднимался ветер. В доме холодно, темно, сиротливо и неудобно. Отопительный сезон еще не начинался, и нужно было терпеть и холод, и уют.

Не знаю, как бы я пережила этот день, если бы не хлопотливое и заботливое присутствие Жанны. Под конец она покормила Дарлика — у бедной собаки в глазах стояли слезы. Я просила Бога только об одном, чтобы он не забрал к себе последнего свидетеля моей прошлой жизни — бедного, жалкого Дарлика.

Покормив его и чмокнув нас на прощание, Жанна умчалась.

На следующий день я встала рано. Спалось мне плохо, и с трудом я дождалась рассвета. Под утро у меня разболелась голова, и все вместе — тучи, ветер, холодное, зябкое утро и одиночество — вернули мои вчерашние ощущения. Ощущение лопнувшей нити, на которой висела моя жизнь, и вот она неожиданно и страшно оборвалась. Я с трудом ходила на занятия, не помню, о чем толковала, что объясняла детям, с тяжелой головой возвращалась домой, пыталась играть на рояле, но с первыми тактами музыки — она только усугубляла мое угнетенное состояние — снова принималась плакать.

Жанна звонила, успокаивала:

— Хорошо, что ты плачешь, это горе тебя отпускает.

Отпускало меня горе, да все никак не отпустило...

В полном забвении себя после похорон прошло несколько дней.

Перемен к лучшему в моем душевном состоянии не наблюдалось, и я не на шутку опасалась за свое здоровье. Спасением стал неожиданный приезд Тараса. Он приехал — примчался, такой у него был хлопотливый, озабоченный вид — в воскресенье, на праздник Покрова, рано утром.

Я только что встала и выглядела хуже некуда: лицо опухшее, под глазами мешки, вид угрюмый.... И когда повисла на шее Тараса, такого молодого, здорового и сильного, горе последних месяцев вылилось бурным потоком слез, так что он не на шутку испугался. Бросил дорожную сумку и растерянно гладил мои волосы, целовал щеки, губы, глаза. Высушивал каждую слезинку, а я редела пуще прежнего.

Тарас быстро навел порядок на кухне, приготовил завтрак, заставил меня принять душ, причесаться, подкрасить губы: «Хочу видеть тебя такой, какой встретил тебя в Моршине, молодой и красивой!» И, распаковав вещи, он стал вытаскивать подарки: теплый немецкий свитер, кожаную куртку, шерстяные узорчатые носки — «мама вязала!».

Я радовалась его бодрому виду, уверенному голосу, дорогим подаркам — от них пахло заботой и любовью — и постепенно оттаивала.

За завтраком мы выпили привезенной Тарасом карпатской зубровки, и мне стало совсем хорошо, тепло и уютно.

— А теперь, — сказал он, — веди меня и показывай город! Все твои любимые места! А завтра мы поедим к бабушке и папе...

Целый день мы с Тарасом провели вместе. Гуляли по городу, он весь был желтый от осенней листвы, голубой от небесной лазури, чуть подернутой перистыми облачками. Тихий, меланхоличный день, вдвойне прекрасный от того, что теперь со мною Тарас, единственный любимый человек после всех моих потерь. Почему жизнь так жестока, что требует дани за каждое приобретение? Дань эта тяжела и непосильна, еще немного — и я совсем потеряю способность радоваться...

После объятий, поцелуев, подарков, слез и завтрака — отдыхать с дороги Тарас отказался: «Я не старик, не устал!» — я повела его к морю, нашему неповторимому достоянию. Привыкший к нешироким и бурным карпатским рекам, Тарас задышался от восторга при виде широко раскинувшегося морского горизонта. Вместо привычных унылых берегов — далекую, подернутую солнечной дымкой перспективу, пустую и бесконечную.

Неделю, пока гостил у меня Тарас, мы всюду ходили вдвоем. В училище шли уже занятия, и за летние каникулы произошли мелкие, но значительные события. В фойе и гардеробе сделали ремонт — на большие объемы городская власть не осмелилась, нет денег. В учительской сняли со стен портреты Глинки, Чайковского, Рахманинова и Мусоргского и повесили фото украинских классиков: Мыколы Лысенко, Мирослава Скорика и Платона Майбороды. Лысенко потом сняли, его опера «Тарас Бульба» была признана непатриотичной. И повесили портрет Игоря Стравинского — будто бы он тоже композитор украинского происхождения.

В учебную программу ввели курс истории украинской музыки, и я рыскала в библиотеках в поисках всего, что имело хотя бы приблизительное отношение к украинской музыкальной культуре. И, управившись с делами, стрелой летела домой.

Тарас отсыпался, потом готовил обед — «у тебя же пустой холодильник!» — или бродил по городу.

Я прибегала домой запыхавшаяся, мне не терпелось увидеть любимого. Пока я принимала душ и приводила себя в порядок, он разогревал обед, сервировал стол. Был предупредителен и ласково хлопотлив. Мне нравилось, что он заботлив, старается угадать каждое мое желание. Ничего не могу сказать: папа и бабушка тоже не знали, как мне угодить. Но то они, а то — Тарас. Его хлопоты и помощь не в пример слаще, мне хотелось, чтобы его внимание и предупредительность никогда не заканчивались. Хотя я и знала на примере Жанны и по рассказам женщин на работе, что в супружеской жизни, как и в жизни вообще, нет ничего вечного. Но мне так хотелось продлить свое счастье! Стояло бабье — мое! — лето. Дни были полны тепла, золота и тишины.

— Ты бы согласилась... выйти за меня замуж? — спросил у меня Тарас, вороша ногами палые листья в парке, где мы гуляли.

«О Боже, мне делают предложение!» — мысленно ахнула я.

Сказав это, Тарас с облегчением вздохнул, как будто выкопал глубокий погреб у себя в «садыбе».

Я молчала, изображая потрясение.

— Тарас, дорогой, — вымолвила я как можно трогательнее. — Я счастлива стать твоей женой. Но как на это посмотрят твои родители? Вдруг они захотят невестку попроще, из своих?

— Я все улажу. Тато — обещаю — не будет против. Мама станет задавать вопросы, но я сумею ее убедить, не сомневайся!

И улыбнулся своей детской, очаровательной улыбкой.

— Хочу сделать тебе подарок. В знак того, что мы станем мужем и женой.

Он достал из кармана красную сафьяновую коробочку и раскрыл ее: внутри золотились два тонких обручальных кольца.

— Хочу, чтобы у нас была помолвка. Венчаться предлагаю на Рождество, у нас. Ты приедешь как невеста и останешься в моем доме навсегда...

— О, Тарас! — только и смогла вымолвить я. — Мы будем венчаться в соборе Святого Юра?

— Как ты захочешь, так и будет!

Здесь, в золотом осеннем парке, и состоялась наша помолвка. Тарас надел кольцо на мою руку, а я — на руку любимого. Мы поцеловались, и я запомнила этот октябрьский день с его полусветом-полутенью как один из самых счастливых в моей жизни...

Тарас вскоре уехал, а в первых числах ноября начались осенние ураганы. По ночам гудел и бесновался ветер, я просыпалась от его воя и со страхом следила за мельтешением теней на стене.

Штормы и ураганы — предвестники приближающей зимы — мучили город две недели. А когда циклон ушел — так же неожиданно, как и появился, — ударили первые заморозки.

Вечером, придя из училища домой и едва успев бросить портфель, я почувствовала себя дурно. Меня тошнило, и на следующий день, выбрав окно в лекциях, я приплелась в муниципальную поликлинику.

Доктор Шведова, наш семейный врач, лечившая еще бабушку, осмотрев меня, широко улыбнулась:

— Поздравляю, милая, вы — беременны!

Х

И вот я приступаю к последней части моего повествования. Мое послушничество подходит к концу. Через день-два я сообщу настоятельнице, что моя исповедь завершена, я окончательно распрощалась с прошлой жизнью. Смирненно и терпеливо примусь за любую работу, какую определит мне сестра Василина — на кухне, в курятнике или во фруктовом саду, где подходит к концу осеннее окучивание деревьев. Всякую работу, любое поручение приму как должное. Как обязанность искупить грехи, большей частью вольные, чем невольные, как я повторяю перед сном в молитвах. Ибо нарушила заповедь отцов церкви исповедовать единое крещение. Отвергла все, что меня вскормило и выходило, и приняла новое, к чему так восприимчива моя душа.

Крестили меня — точнее, перекрещивали — в храме Святого Юра, где должно было состояться — но не состоялось! — наше с Тарасом венчание. И где мысленно я крестила нашего сыночка, я и имя ему придумала во время беременности — Ивасик, знала, что Тарасу оно понравится... Все это должно было произойти, но — не произошло. Однако обо всем по порядку.

Прошел месяц после отъезда Тараса во Львов. В Киеве начались волнения — приближалась зима зловещего, принесшего нам всем тяжкие испытания тринадцатого года. Тарас несколько раз выходил на связь из Донецка, мы и четырех часов еще не провели порознь. Потом звонил из Днепропетровска и наконец набрал меня в Виннице. Мы долго говорили во время остановки поезда на станции Пятихатки. Из-за огромного вещевого рынка, разбитого едва ли не на железнодорожных путях, остановка поезда здесь самая длительная.

Рынок, как растревоженный улей, бурлил, гудел и метался в поисках нужных вещей, а нам с Тарасом было так тоскливо! Полчаса, что длилась стоянка, мы проговорили по телефону. Сокрушаясь о разлуке и строя планы на будущее. Знала бы я, что они не исполнятся, держала бы рот на замке!

И наконец — у меня шла вторая пара, и я, как сумасшедшая, вылетела из аудитории — Тарас позвонил с железнодорожного вокзала во Львове. Голос у него был

взволнованный и грустный: «Как я рад, милая, что я дома! Одно тревожит и смущает: на родине я один, без тебя. Без твоей теплой, грустной улыбки, нежных, горячих рук. Ты не представляешь, с какой душевной болью я сошел с поезда, прошел несколько шагов по запруженной народом платформе и попал в родной львовский дождик. И вдруг остро осознал, что без тебя я — ничто. Чемодан без ручки. Телега о трех колесах, скрипка без струн, певец без голоса... Но ты безнадежно далеко, и у меня опускаются руки: как жить без тебя дальше!»

Я слушала его и тихо плакала. Горькое чувство потери нашептывало что-то, что я не в силах была понять. Тарас жаловался и вздыхал, как будто после нашего расставания прошло не двое суток, а целая жизнь. Кажется, один только раз мы и встретились. А потом пришла вечная разлука. Она раскинулась холодной марсианской пустыней вместо широкой и полноводной реки жизни. Где-то я читала, что звезды ночью в пустыне кажутся непомерно мелкими, словно высохшими от невыносимого зноя. И мне представлялось, что мы с Тарасом такие же маленькие, высохшие от испепеляющей жары звезды, тоскующие друг по другу...

И жуткий страх потерять Тараса меня пронзил...

После лекций я торопливо оделась и помчалась на вокзал — выяснять расписание поезда на Львов и обратно. И поинтересоваться билетами.

На первом пути шипел и подрагивал отправлявшийся в Киев фирменный поезд «Азовье». На перроне под холодным дождичком колыхалась толпа возбужденных, подвыпивших людей. Обнимались, смеялись, прощались... Вещей, кроме пластиковых пакетов с бутербродами, ни у кого не было. Духовой оркестр (как будто добровольцев на фронт провожают!) играл советские марши, и я не сразу поняла, что происходит. Оказывается, в Киев отправляются рабочие металлургических заводов!

— Едем на альтернативный митинг, — объяснил пробежавший мимо паренек с круглым улыбающимся лицом. — Противостоять радикалам!

Возле касс толпилась очередь, к справочному бюро нельзя было подойти, и я металась от одного окошка к другому. Мучиться в очередях мне не хотелось, ехать во Львов вот так, с наскока, то хотелось, то уже не хотелось, и в раздвоенных чувствах, как неприкаянная, я слонялась по вокзалу, Толкалась среди веселого, пьяненького народца, и все мне казались чужими и равнодушными. Никто не желал ни помочь мне, ни сочувствовать. Да и сама я не понимала, чего хочу.

С пустой головой и пустым сердцем, так ни на что и не решившись, я побрела на остановку — троллейбусы, как всегда, были переполнены...

XI

На следующий день, придя в себя после сна, я решила позвонить Тарасу. И все рассказать ему о ребенке, о себе и о том, что я мучаюсь неизвестностью. Жуткий страх застать его врасплох — вдруг он с новой подругой, не может быть, чтобы он не завел себе в Моршине девушку, — сковал меня так крепко, как морозы не сковывают родное море.

И — я опять передумала! «Звонить не буду. Только отвечать на звонки. Перестанет звонить — и черт с ним! Стану матерью-одиночкой. Не я первая, не я последняя», — рисовала я в воображении новую линию жизни.

Был выходной, воскресенье. После обеда я вздремнула и, пробудившись, включила компьютер. В почтовом ящике обозначилось новое письмо. Новое относительно, у меня и старых-то не было, после смерти папы я не получила ни одного послания...

Письмо было от Люси Шварцман, моршинской соседки по этажу.

Люся — из Киева. Каждое утро, встречаясь со мной в санаторном корпусе, она желала доброго дня. Я отвечала ей тем же, и на процедурах мы обменивались мнениями о том или ином докторе или медсестре.

Люся (как и я ей) мне нравилась. Видеться и беседовать с ней было легко и приятно. В столовой она сидела наискось, наши взгляды то и дело пересекались, и мы радостно друг другу кивали. Эта скромная рыжеволосая девушка могла бы стать лучшей подругой, но никаких усилий к этому мы обе почему-то не предпринимали — встречались, улыбались друг другу, обменивались новостями, и на этом все.

Сближение произошло недели через две после того, как мы с папой обосновались в санатории. Был теплый, солнечный день — в дождливом Моршине явление редкое.

Позавтракав и исполнив ежедневную обязательную процедуру, санаториане гурьбой повалили на речку.

У реки на широкой поляне был устроен пляж. Даже чистый речной песок завезли, чтобы облагородить диковатые берега Каменки. Траву выкосили, прибрежный кустарник вырубали, поляну засыпали песком, поставили два-три деревянных грибка и воздвигли лодочную станцию. Возле нее меланхолично покачивался на тусклой воде десяток крашенных в синюю краску шлюпок и водных велосипедов. Велосипеды были популярны: вдоль зеленых берегов уже катили два-три хлюпающих и сверкавших мокрыми лопастями речных агрегата...

На подстилке у воды в раскованной позе возлежала Люся. Завидев меня, она призывно помахала рукой. Папа от предложения искупаться отказался. Остался в корпусе, заявив, что хочет поиграть на бильярде, но я подумала, что это отговорка. На самом деле, пока меня нет, он решил провести время со своей блондинкой.

Люся моему появлению обрадовалась.

— Скучно, — заявила она, закуривая, когда я расположилась рядом. — Даже поговорить не с кем...

— Ты давно в санатории?

— Почти месяц, — кивнула Люся. — Скоро уезжать. И представь: за все время ни одного знакомства, ни женского, ни мужского!

— В Киеве наверстаешь, — засмеялась я.

— В Киеве дела и проблемы!

— Какие у тебя могут быть проблемы, — вырвалось у меня. Как-то не верилось, что у этой симпатичной, безмятежно раскинувшейся на подстилке женщины могут быть какие-то сложности — страдать и мучиться в этой жизни полагалось только мне.

— Кто сегодня живет без проблем? — передернула бледным плечиком Люся. — Время такое...

И, не уточнив, в чем заключается проблематичность нашего времени, поднялась, чтобы погрузить крепкое, стройное тело в мутные воды реки...

Люся долго плавала, почти достигла противоположного берега, крутого и заросшего дубами. Я поинтересовалась, где она научилась так хорошо держаться на воде.

— Дома. В Гидропарке на Днепре. Девушка я спортивная...

Разговорившись с нею, узнала о Люсе все. Или почти все.

По профессии она спортивный врач. Работала в Киеве на стадионе «Динамо». В школьные годы занималась плаванием в спортивной секции, отсюда и ее мастеровитость.

— Из спортивной медицины я ушла, — рассказывала Люся, — и занялась журналистикой. Сначала спортивной, а потом вообще. Еще в школе я пописывала в газеты... А сейчас работаю репортером в газете «Киевский телеграф».

— Хлопотно, конечно, но интересно. Каждый день как на войне — то пожалуется на тебя какой-нибудь кретин из нуворишей, то сама их расстреливаешь. Статьи-ми, — смеялась она. — Благо жертвы плодятся как грибы после дождя. Ненавижу их, сволочей...

— Ты про кого? — поинтересовалась я.

— Про олигархов, про кого же еще!

Люся, как и я, не замужем, нас это сближало, и мы так с ней заговорились, что я забыла про речку.

— Схожу искупаюсь, — спохватилась я, когда время стало приближаться к обеду.

Купаться в реке мне не нравилось. Вода тяжелая, грязная из-за толстого слоя ила. Ощущать его неприятно, будто наступила на лягушку. Я брезгливо в воду вошла, брезгливо присела и заторопилась на берег. С ужасом представила, как мою ногу обвивает холодная склизкая змея.

— Эх ты, трусиха азовская! — хохотала Люся.

— Ненавижу реки. Как ты можешь тут плавать! И рыбу речную ненавижу. И лягушек ваших, и змей!..

Я и лес, откровенно говоря, недолюбливала. Там тоже водятся змеи и прочая отвратная живность, какую я видела исключительно в книжках в раннем детстве. С тех пор все дикое, животное мне, девушке, воспитанной на тонкой культуре, претит. Любила я парки, похожие на произведения искусства, и само искусство, где нет места грубому и грязному. И только в Моршине, в огромном, залитом по утрам серебряной росой лесопарке стала привыкать к непроходимым зарослям, старым лиственницам и елям, огромным и мрачным. Мне нравились звонкость голоса и эха, дубовая сухость воздуха, запахи лесных трав и даже сырой, тяжелый туман, обволакивавший парк утром, когда вместо солнца видится мутное лимонное пятно...

ХП

С Люсей мы условились, что в день ее отъезда я провожу ее во Львов. Скорый поезд на Киев отправлялся в полдень, и, посоветовавшись, мы решили выехать первой электричкой.

— До Львова часа три езды, — прикидывала Люся. — Около девяти будем в городе. Поглазем на архитектурные памятники и пообедаем. Я знаю чудный ресторанчик на проспекте Свободы.

В постель в тот вечер я легла рано: хотелось выспаться перед ранним подъемом.

Папа тоже улегся раньше обычного, — кажется, он оставил в покое свою белокурую бестию. Или она его, уж не знаю... Было приятно, что мы снова вместе и заживем, как раньше, спокойно и легко. Закрывая глаза, я пожелала папе спокойной ночи и пообещала выскользнуть утром из номера тихо, чтобы его не разбудить...

В рассветных сумерках, нагруженные вещами, мы с Люсей выползли на задний двор.

Шел мелкий дождик, похожий на мокрую пыль.

— Электрички никогда не отправляются вовремя, — пыхтя под тяжестью чемодана (мне она доверила сумку и пакеты), убеждала все знавшая, во всем разбиравшаяся и судившая спокойно и здраво моя киевская подруга. — Если опоздаем минут на пять, все равно успеем!

Когда мы влезли в полупустой вагон, приготовившаяся к отправлению электричка гудела и дрожала всем своим старым, немощным телом.

Было холодно. В жидком вагонном свете сиротливо поблескивали покатые лавки. В углах сидели, нахохлившись, редкие пассажиры: женщина с плетеными корзинами, худой, с висячими усами мужчина в сапогах и кутавшаяся в вязаную кофточку девушка. За окном светлело. Виднелись очертания вокзальных столбов и вышек, и Люся тяжело вздохнула:

— Какая тяжелая страна! Кажется, здесь всегда идет дождь и люди хмурые, как это небо!

— Я не присматриваюсь. Я ведь тут по необходимости, — пожала плечами я. — И не обращаю внимания на мелочи. Ни на дождь, ни на угрюмые леса и лица... Папа здесь лечится...

— Да, ты рассказывала...

— Но и тут встречаются чудные уголки!

— Я люблю юг: солнце, цветы, море...

— Почему же туда не поехала? — удивилась я.

— Ездила каждое лето. В Ялту... Понимаешь, — оживилась Люся, — захотелось увидеть что-то новое, необычное, ведь отпуск только раз в году!

— Ты не бывала в Карпатах?

— Никогда. И погнала меня сюда тоска. Даже не могу объяснить, откуда она взялась. И тяга к лесу, свежему воздуху и безлюдью. Наверное, старею, — засмеялась Люся. — А может, это национальное: евреи, даже молодые, чувствуют себя глубокими стариками. За нашей спиной толща тысячелетий! Хочется уехать туда, где мало людей. Как праотец Авраам — собрал свой род, овец, плюнул на соседей-шумеров и отправился куда глаза глядят. Может, Нина, это предчувствие? Предчувствие, что скоро все изменится и нам понадобятся силы, а на что — я и сама не знаю! — фыркнула Люся. — А вообще, больше всего на свете я люблю Киев! Какой он уютный, приветливый и теплый весной, когда зацветают каштаны. И летом, когда цветут липы! Часами брожу по городу и не могу насмотреться. Налюбоваться, надышаться...

Но жить одним местом нельзя. Вообще — ничем одним; одним городом, одной страной, одной любовью; человек создан для множества, как птица для полета! — рассмеялась она, и сидевшие напротив женщины, о чем-то увлеченно тараторившие, умолкли и с удивлением на нас посмотрели.

Постукивая на стыках, поезд неторопливо полз среди лесных чащ и мокрых полян. Потом опять со всех сторон напознал лес, бежал назад и в стороны, и поникшие от дождя ели подступали к самому полотну.

В вагоне дуло. В джинсовой рубашке было холодно, и я жалела, что не надела куртку, как Люся. Но потом подумала, что в дальнюю дорогу люди одеваются теплее, чем обычно, и винить меня в непрактичности не следует. Я не путешественница, а всего лишь сопровождающая особа. Скорбная, мучающаяся дурными предчувствиями... А тут еще Люся добавила дурного настроения... И этот непрекращающийся дождь... Я даже не предполагала, что моросящий дождь способствует появлению печальных мыслей. Или это грустные мысли вызывают потоки воды, похожие на слезы? А что удивительного, ведь научились же люди разгонять тучи? Значит, и собирать их в одно тяжелое, мокрое полотно тоже умеют...

Поезд то и дело останавливался на безымянных лесных полустанках. В вагон входили и выходили в тяжелой и грубой одежде мужчины и женщины. С них капала дождевая вода, мужчины были молчаливые и недобрые, а женщины — недобрые и болтливые. В их болтовне, не русской, но и не украинской, а своеобразной, особенной, как и все, что я видела и слышала в этой стране, тоже проскальзывало что-то недоброе. Или мне так казалось под влиянием Люсиной откровенности, неожиданной и неприятной. Мы затихали, как напроказившие дети, и сжимались в комок, стараясь казаться равнодушными. Поглядывали в исхлестанное дождем вагонное окно, а за ним не было ничего, кроме черной, слезящейся мути...

— Как хочешь, не люблю я западнцев! — вздохнула Люся. — Выглядят как убийцы. Мрачные, нелюдимые... Не поймешь, что у них на уме.

— Ты преувеличиваешь. Обычные люди.

— Наверное, это генетическое, — вздохнула Люся. — Мой прадед погиб в Бабьем Яру, вот и кажется, что все западнцы — фашисты.

— Кто у тебя был прадед?

— До революции он был лудильщиком. Маленькая мастерская на Боршаговке, там он и зарабатывал на семью. Со временем обзавелся сетью мастерских, немного разбогател. После революции «сеть» преобразовали в артель «Красный лудильщик», и прадед стал простым мастером...

— А родители?

— Они все врачи. Начиная с деда. Так что я в наследственной профессии, — засмеялась Люся. — Помнишь стихи о еврейском кладбище под Ленинградом: «Лежат рядом врачи, юристы, торговцы и революционеры»... Среди моих родных, слава богу, революционеров не было. И, надеюсь, не будет. А врачи да, любимая наша профессия!

— Но ты же ушла в журналистику!

— Нет еврея, не умеющего писать. И не любящего книгу. Это у нас вторая натура. Вот она у меня и победила!

Люся достала из сумочки сигареты и заявила, что она уходит курить. Когда электричку шатало из стороны в сторону, я видела в тамбуре качающийся и исчезающий в окне ее тонкий горбоносый профиль...

Во Львове дождя не было. Но было так холодно и мокро, как будто он шел всю ночь и прекратился за минуту до нашего приезда.

От пригородного вокзала пошли пешком, таща на себе вещи. Нанимать такси не было смысла, Центральный вокзал рядом, в десяти минутах ходьбы.

Вновь я увидела в сумраке ненастного утра барочную громаду львовского вокзала, украшенную скульптурами и вензелями — она встречала нас с папой в тот день, когда мы приехали. Тогда тоже шел мелкий, осенний дождичек, и я поняла, как сильно люблю эту страну и город...

Вещи мы сдали в камеру хранения. Люся оставила меня в холле, сказала, что сбегает в ларек купить сигареты. Я вспоминала наш с папой приезд во Львов. Как долго мы искали, смеясь и негодуя, потому что на наши вопросы прохожие только пожимали плечами, остановку маршрутного такси. И все-все, что было потом, потому что, оказывается, вспоминать слаще, чем жить сегодняшним днем. Когда-нибудь, думала я, с такой же любовью и нежностью я буду вспоминать дождливый день, который провела с Люсей во Львове. «Наверное, мы больше не увидимся», — подумала я, и мне стало совсем грустно.

Из толпы, мчавшейся с вещами на платформу, когда объявили посадку на поезд до Одессы, вынырнула улыбающаяся Люся.

— В зале ожидания неплохой бар, ты не против выпить?

Я — не против. В санатории лечебную воду я не пила, Люся тоже. Удовлетворялись безвредным «Бонифацием», и переживать за свое здоровье нам было нечего.

В малолюдном зале ожидания, приютившемся возле парикмахерской и полупустого, как обычно по утрам, ресторана, раскинули ветви могучие африканские пальмы с шершавой корой и поблескивала никелированная стойка бара. На высоких табуретах потягивали напитки два-три молодых человека. Позади, сдвинув столы с грудой бутылок, горланила веселая компания.

— Поляки, — уловив мой удивленный взгляд, кивнула Люся. — Через полчаса отправляется экспресс на Варшаву, вот они и празднуют... Или черт их знает, что они празднуют, — проворчала она. — Поляки празднуют всегда и везде, знаю по Киеву... Ну, — подняла она рюмку с коньяком, — за нашу дружбу, милочка, и за мой отъезд. Рада была с тобой познакомиться, ты хорошая девушка...

На плазменном экране мелькала реклама чудодейственного средства от псориаза, сменившаяся рекламным роликом парфюмерной компании «Avon». На экране воз-

никали и исчезали тюбики с кремом, флакончики с туалетной водой и женскими духами. Я тупо их созерцала, потягивая коньяк вперемешку с кофе и поглядывая на расшумевшуюся компанию.

Доконав последнюю бутылку, с победными возгласами они швырнули ее под стол — она жалобно звякнула о кафель — и весело заржали. Ржали, впрочем, они все время, пока мы сидели за стойкой и обменивались адресами: «Может, еще увидимся...»

— Запиши мой имейл и дай мне свой, — деловито попросила Люся.

Адреса и пароли мы завели в память мобильных, и Люся предложила еще по рюмке:

— На посошок...

Поляки горланили бесконечные песни, пьяненький юноша в очках выпрашивал у толстой барменши бутылку водки, но она ему отказывала:

— Нэма горилки... ниц нэма!

— Прошу пани, — умолял полячок. — то эвро... — совал он мятую бумажку.

Воровато оглянувшись, толстуха упрятала купюру в область живота и протянула пареньку бутылку «Хлебного дара»...

— Жлобы! — процедила с ненавистью наблюдавшая за этой сценой Люся. — Что поляки, что наши... все жлобы!

Мне стало неловко: милые галицийцы, оказывается, вовсе не ангелы! Романтический ореол рассеивался, как туман с восходом солнца; но мой восход, конечно, больше напоминал закат. Я понимала Люсю: смущала не взятка польского паренька и не вымогательство барменши, а готовность за жалкую евробумажку выполнить любую прихоть, удовлетворить любую просьбу. Я вспомнила похожую сцену на Лычаковском кладбище во Львове.

Мы с папой приехали на экскурсию в солнечный воскресный день и долго бродили среди могил польской знати. На кладбище давно не хоронят, теперь оно — произведение искусства. Мы рассматривали наседавшие друг на друга памятники и склепы, один романтичнее другого. На могиле какой-то пани Верховской, умершей от чахотки совсем молодой, высилась мраморная скульптура: из глаз молодой женщины в античной тунике капали слезы... Капают они уже полтора столетия, и, кроме любопытных туристов, никому до этих слез и умершей пани нет дела.

У кладбищенских ворот местные женщины продавали цветы — пышные охапки и корзины роз, пионов, астр, орхидей... кому они предназначались — непонятно.

Но вот победно сигналя и урча, на площадь вырывают пассажирские «мерседесы» с варшавскими номерами.

Цветочницы, сонными глазами провожавшие редких прохожих, встрепенулись и ожили. Из автобусов, разминая затекшие ноги, выходят не спеша паломники — мужчины и женщины, молодые и старые. И направляются к стихийному цветочному рынку.

— Купуйте, пани... Квяты, прошу... — вскочили, залебезили цветочницы, и я поняла, как прочно связывает их, поляков и галицийцев, прошлое и как мы, русские, далеки от этого мира...

ХIII

Утром, когда я проснулась в номере — комнату заливал непривычно жаркий солнечный свет, — впечатления от вчерашних проводов Люси — неприветливые пассажиры в полупустой электричке, грязный львовский вокзал, дождливый пейзаж, пирующие, как у себя дома, поляки, да и сама Люся — казались тяжелым, неприятным

сном. Знакомство с Тарасом, вспыхнувшая любовь к нему, внезапная и страшная смерть папы отодвинули это маленькое происшествие в дальний угол памяти. Вспомнила только сейчас, когда увидела в почтовом ящике письмо от Люси, изрядно меня удивившее. Она представлялась существом из далекой, не моей жизни. Столько событий, переживаний и разлук пришлось мне испытать с тех пор! Я повзрослела на сто лет, а Люся и прошлая жизнь куда-то отодвинулись, как мама отодвигает слишком маленькие башмачки повзрослевшей дочери...

Письмо оказалось таким длинным, что Люся поместила его в прикрепленном файле, и, приготовив себе кофе, я принялась читать.

Дорогая Нина!

Прости, что не написала сразу после приезда — навалились срочные дела по редакции. Потом нужно было привести в порядок квартиру после долгого отсутствия, и письмо к тебе я все откладывала да откладывала. Хотелось написать не спеша, без суеты и мыслей о делах насущных. Ко всему прочему добавились волнения в Киеве, ты о них, наверное, знаешь. Вся киевская журналистика ринулась на Майдан, чтобы не прозевать очередную новую эру в нашей истории. Я принципиально туда не ходила, по работе это не обязательно. В газете на мне висят культура и спорт, но ведь есть еще и нравственное чувство, не так ли? Оно мне нашептывало, что благие (в теории) телодвижения народных масс обычно приводят к ужасам и катастрофам. Чем справедливее возмущение простого народа несправедным режимом, тем кровавее оказывается результат. Мне бы не хотелось, чтобы виновником очередной революции оказался мой родной Киев.

Но невозможно запретить себя в хрустальной шкатулке и сделать вид, что ничего не происходит! Вокруг, в журналистской — да и в обычной — среде только и разговоров, что о Майдане. Споров, мнений, выяснений, правы протестующие или не правы. Толки о судьбе Януковича и перспективах подписания договора с Евросоюзом.

Я наконец решилась и отправилась на Майдан. В субботу, священный для евреев день, в выходной! Я, преступница, посвятила его не созерцанию и обдумыванию совершенных за неделю поступков (за что непременно буду наказана!), а походу на место греха. Из все более разгоравшегося любопытства и чувства стадности: как же так, все туда ходят, а я ни разу не была!

Нина, на Майдане мне реально стало страшно! Сколько ненависти к России и Путину! Люди кипят, рефреном: «Геть москальских прихвостней! Европа, Европа, Европа! Будьмо! Бандюковича (то есть Януковича) на нары!» — и непечатно... Мужики какого-то жуткого вида, страшные, неухоженные, с флагами, на вид грязнее гастарбайтеров, разбивают палатки. Уже применен слезоточивый газ. Куда бежать?..

Сцена. Огромный портрет Юлии Великомученицы. Какая-то бабка лет восьмидесяти на костылях читает стихи собственного сочинения: «Не хочу быть рабыней Москвы». Аплодисменты.

Водрузили флаг УПА напротив Кабмина. Бросили дымовые шашки. Слава Украине!

Неконституционный захват власти — вот что происходит в стране! Украинцам это нравится, именно это страшно.

— Нет, вы подумайте, — говорит мне на следующий день дама на фитнесе. — Он, видите ли, не хочет подписывать евроассоциацию! Мои родственники живут во Львовской области (уж не их ли мы видели в утренней электричке с ежевикой в корзинах?!), они не допустят! Они хотят в Европу!

Спрашиваю: а что, мол, будет с вашими родственниками? Что изменится-то? Они и так в Европе много лет. Сиделки, уборщицы, приживалки...

Обиделась. Теперь здороваться не станет...

Телевидение передает, что на Майдане все очень даже душевно: пирожки, чай, колбаса, каша, песни, певица Руслана. А про то, как вчера «евроинтеграторы» мо-

лотили прутьями «Беркут», как захватили и перевернули автобус, ни слова. Молодцы. Честные журналисты. Европейские.

Предательство во всем, Нина, — вот что такое Украина. Двухязычие, двоевластие, двоедушие, двусмысленность. Предательство как идеология. И все это было и до нынешних событий. Всегда...

Пару дней я приходила в себя от ужаса, а потом не выдержала. Бросила все дела и поплелась туда снова. Будто не насытилась зрелищем всеобщего паскудства, и меня потянуло обратно, как маньяка на запах крови. Прихожу: сегодня все, кто были на Майдане, хотели и могли в мэрии сходить в туалет. Омерзительно. Поясняю: в Киеве погромы, настоящие погромы. Или один большой погром. Дом профсоюзов захватили, в мэрии на полу спят какие-то вонючие мужики в портянках. Двери здания открыты настежь. Там теперь «революционный комитет». Снуют швандеры и шариковы. Туалета за собой они не моют, разруха в головах. Почему еще не громят бутики и магазины на Крещатике для нужд революции? Я не знаю.

Цитатка с революционной площади от простых украинских женщин: «Будем тут стоять до конца, за наших детей, и чтобы тут Россией и не пахло!»

Пока тут воняет. Очень. До рвоты.

Со сцены кричат: «Мы заблокируем их счета!»

По-украински «счета» — «рахунки», но выступающие мовы не знают, идет суржик.

— Мы покараемо их тут. На Майдане! Згодні? (Согласны?)

— Так! Так! Так! — безумствует толпа.

Женщина в норковом полушубке с испуганным лицом продвигается к метро:

— Нет, в 2004 году мы так не стояли. Мне страшно!

Мне хочется материться: так это вы их и заказали. Дети выросли у тех, кто в 2004-м стоял с вами.

В метро спускаюсь под «зиги» и крики «Слава Украине!». Все подхватывают. Без содрогания. Два дня, даже больше, думаю после этого: могут ли нацистские жесты выплыть из генетической памяти украинцев, чьи предки жили на оккупированных территориях или воевали против Красной армии? Почему так поперло-то? Налицо коллективный психоз у половины страны! Знаю, в институте у меня было «пять» по психиатрии...

Нина, после того, что я увидела, в Моршин и вообще на Западную Украину я теперь ни ногой! Проживу без галицких суперменов и их водички. Какая же она «целебная»? От целебной воды идиоты и мерзавцы не рождаются! Помню свои ощущения той поры: что-то внутри предупреждало меня и предостерегало, но я валила свои предчувствия на дурное настроение и женские причуды. Нет, Нина, это была тоска; тоска от того, что мне, Киеву, всем нам придется пережить — тоска от будущего. Не «по», Нина, а «от»... Прости, что свою ярость и беспомощность я выплескиваю на тебя. Ты и все вы, живущие как бы в стороне, будьте наготове: они закончат здесь и завтра придут к вам. Знаю, чувствую...

Обнимаю тебя и плачу.

Твоя Л.

...Закрыв почту, я долго бродила по квартире, не включая свет. В голове какая-то каша. Из Майдана, тоски по Тарасу, гибельных предчувствий и одиночества. Я и верила Люсе, и не верила ей. Успокаивала себя, что в Киеве бунтуют уголовники, маргиналы, а порядочные люди обходят Майдан стороной. Потом зародилась трусливая мыслишка: режим Януковича все-таки да, антинародный. И хорошие, умные, честные люди решили его свергнуть, чтобы восторжествовала справедливость. Какая справедливость и в чем она должна выражаться, я не представляла. Не хватало жизненного опыта. Чтобы избежать споров с самой собою, перескакивала на другие темы: моя беременность, становившееся зловещим молчание Тараса, наше туманное будущее...

И, сев за компьютер, я стала писать ответ...

Дорогая Люся!

Благодарю тебя за послание, думала, ты давно обо мне забыла. Ведь мы часто, непростительно часто, забываем тех, с кем сводит нас судьба. Письмо твое меня и обрадовало, и огорчило. Обрадовало — потому что ты вспомнила обо мне и решила, что я — тот человек, которому ты можешь излить душу. А огорчило болью, ею дышит каждая строчка твоего послания. Чувствую, что ты на нерве и не видишь выхода из создавшегося положения. Положения, в котором ты оказалась по воле случая и стечению обстоятельств. Нас раздражает (особенно это касается женщин, самой природой призванных к существованию семейному, камерному) влияние внешнего на нашу внутреннюю жизнь, ведь мы по природе изоляционисты! А тут всеобщая неразбериха, замешанная на социальном протесте, его жестокость и грубость. Не хотела бы я оказаться на твоём месте! Не хотела бы видеть и слышать вещи, о которых ты рассказываешь! Дай бог, чтобы народ в Киеве пошумел да разошелся!

Когда я читала твое письмо, то все время думала: как же мы не ценим день сегодняшний! Нам обязательно подавай будущее, оно в сто раз прекраснее настоящего. Но на смену надеждам почему-то приходит безнадежность. Прекрасное завтра оборачивается ужасом и кошмаром. И только настоящее, ставшее поруганным прошлым, утешает, заставляя сожалеть об утерянном. Чтобы полюбить что-то, нужно его непременно потерять. Я так была занята собственной жизнью, что почти не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Мир эгоцентричен, и не мне эту горькую истину опровергать. Ты сама женщина и, думаю, поймешь меня. В Моршине я влюбилась в молодого человека, и он ответил мне взаимностью. В прошлом месяце Тарас ко мне приезжал, и наконец-то я стала женщиной. Не по необходимости, как это часто бывает, а по любви. По тяге к его теплым, сильным рукам, глазам, искрящимся умом и нежностью. К его голосу, негромкому и уважительному, когда он обращается с каким-нибудь вопросом, и ласковым, если высказывает просьбу... Я пишу о нем и забываю, что — пишу! Закрою глаза, и мне кажется, вижу его живым и теплым, а не умозрительным, состоящим из листочков и букв. Вот уже месяц, как он перестал звонить и не пишет, а я, дура, не осмеливаюсь набрать его номер. Вдруг — закрадывается в душу холодок — он бросил меня, и у него появилась другая девушка, ближе меня и красивее? Бывает, что незнание, хоть и мучает, все-таки лучше, чем безысходное знание!

Прости, Люся, что я так мало отозвалась на твое горе — у кого что болит, тот о том и говорит. У меня же это — Тарас и мое, наше будущее. Я беременна, скоро у меня появится малыш, и мне небезразлично, как сложится его судьба. С отцом он будет расти или с первых минут жизни обречен на безотцовщину. А я — вдова при живом муже. Не распisanная, не венчанная и уже — вдова...

Желаю тебе терпения в борьбе с навалившимся на тебя, на всех вас злом. Не теряй надежды. Рано или поздно этот морок рассеется, и в Киеве взойдет солнце. Я знаю твой город, знаю, как он дружелюбен и отзывчив, как умеет любить и отвечать на любовь. А ты пожелай мне скромного и тихого счастья, о чем я мечтаю дни и ночи напролет.

Твоя Нина.

XIV

В печали и ожиданиях прошел ноябрь, дождливый и сумрачный. В последней декаде он стал еще более мрачным, но уже морозным, с легкими однодневными оттепелями. Прошел он в горечи и душевных муках, потом в спокойствии жертвы, смилившейся с тем, что плачь не плачь, а тебя все равно отвезут на убой.

Дни текли размеренно и вяло. Ни шатко ни валко шли занятия в училище, вяло я играла по вечерам на рояле, чтобы пальцы не забыли, как выглядят клавиши. Но

прежнего удовольствия от музыки не испытывала. И так же нехотя поглощала в положенное время завтраки, обеды и ужины, становившиеся все безвкуснее и горше. Готовила я без вдохновения, лишь бы утолить голод. Эстетика трапез меня не волновала. Энергия жизни дается любовью или ненавистью, а у меня не было ни того, ни другого...

Декабрь удивил невиданной теплотой и сыростью. Ночью подмораживало и подсушивало, а днем по-осеннему тепло и слякотно. В парке, где я гуляла с Дарликом, в деревьях скапливался туман, я всматривалась в его белесую муть, пытаюсь разглядеть зимнее море, очертания берега и парусообразный контур водной станции, где мы с Тарасом еще недавно прогуливались, обнявшись. Он старательно фотографировал все, что имело отношение к воде, морю; его тянуло к морской стихии, и я поинтересовалась, не водолей ли он по гороскопу?

Но Тарас оказался упрямым тельцом, и тягу к воде я объясняла борьбой и единством противоположностей.

Из Киева — в преподавательской комнате мы живо их обсуждали — поступали тревожные известия. Митингующие на Майдане становились все злее и нетерпимее, а власть вяло им сопротивлялась. Тридцатого ноября милиция разогнала, избив дубинками, студентов Киево-Могилянской академии, а первого декабря на Майдане появились первые сотни бойцов, какой-то «Правый сектор»...

Исторические события в столице волновали меня не больше, чем извержение вулкана в Мексике. К моей жизни они не имели отношения. Это был потусторонний мир, какой видишь в бессвязных ночных сновидениях. На работе, в городском транспорте, на рынке и в магазинах только и разговоров, что о событиях в Киеве. Я не желала выяснять, какая сторона в этом конфликте права, а какая виновата, для душевных терзаний мне достаточно личной неустроенности. Тарас не подавал признаков жизни, и я смирилась с участью брошенной жены. Похоже, случилось то, что и должно было произойти: он попросту обо мне забыл. И, как ни странно, от этой мысли стало легче, словно я избавилась от непосильной ноши.

В училище шла зимняя сессия. Ученики все откровеннее разглядывали мой округлившийся животик — мальчики не скрывая насмешки, а девочки с понимающей улыбкой. Как ни в чем не бывало я принимала экзамены и зачеты, хоть и трудно было привыкнуть к положению незамужней дамы.

Но чем спокойнее реагируешь на иронию, тем проще и естественнее ведут себя окружающие. Важно не перебрать с чувством совершенного проступка, оно сразу бросается в глаза. Комплекс неполноценности — моя ахиллесова пята. Покойный папа уверял, что я не стану выдающейся пианисткой, потому что пренебрегаю собой. Не доверяла себе из-за высокой цены, какую назначила себе сама же. Несоответствие заявленного реальному положению вещей тормозило развитие, не давало раскрыться способностям. Тяготило и почти полное одиночество: только время от времени позвонит Жанна. Поболтаем с ней о том о сем, и опять каждая спешит по своим делам.

А потом...

Потом я уехала на зимние каникулы в санаторий. На целых десять дней. Укрепляла в преддверии будущих родов иммунитет и подпитывала моего маленького витаминами. С путевкой помогла директриса Софья Александровна Андрианова, полная смешливая женщина, опекавшая всех женщин-преподавательниц, семейных и несемейных.

— Поезжай в профилакторий, — приказным тоном заявила она.

— В следующий раз, — отмахнулась я. — Когда рожу...

— Следующего раза может не быть. Пока есть возможность, поезжай...

Софья Александровна сама позвонила в профком и выбила льготную путевку.

— Радуйся, Бибикова, — с видом дамы-победительницы заявила она. — Путевка у тебя в сумочке. Кто знает, что с нами будет через год, — вздохнула она, трагически глядя в окно. — Ходят слухи — но это, Бибикова, между нами, не надо будоражить коллектив, — что в следующем году училище закроют. Из-за недостатка финансирования...

Польщенная свалившимся на меня подарком, я не особенно прислушивалась к трагическому шепотку начальницы. Путевка удобна тем, что она коротка и к Новому году я буду уже дома и встречу праздник с Жанной. Она притащит кого-нибудь из своих подружек, глядишь, и повеселимся, две старые, несчастные дуры...

Утром я собрала вещички и рейсовым автобусом отправилась к месту назначения.

Санаторий-профилакторий «Здоровье» располагался в курортной зоне, почти за городом, на берегу зимнего, сонно колыхавшегося моря. Я наслаждалась оздоровительной гимнастикой, массажем, травяными ингаляциями и успокаивающими ваннами. Запел, забулькал, накатила мягкими, словно волны теплого моря, музыкальными звуками предусмотрительно водруженный на лавку мобильный телефон.

— Милая, это я! — услышала я родной голос.

— Тарасик, роденький, — заголосила я, будто гора свалилась с плеч. — Куда ты запропастился, я все глаза выплакала. Днем и ночью о тебе думаю! Забыл меня в своем Моршине?!

— Как я могу тебя забыть! Без конца думаю: как ты там, что с тобой! У нас такое творится, можно с ума сойти! Моршинские ребята организовали отряд в поддержку Майдана. Хотим свергнуть местную коррумпированную власть и добиться перевыборов. Мэр и его воры-прихлебатели должны уйти! Не разоидемся, пока не очистим город от чиновников из Партии регионов! Вчера штурмом взяли санаторий «Пролисок». Вышвырнули оттуда Мамкевича и всю его воровскую банду!

Директора санатория «Пролисок» Петра Павловича Мамкевича я хорошо помню по нашей поездке в Моршин. Высокий, дородный, симпатичный человек. Вечно занятой, в кабинете его не застанешь. Всегда он что-то приказывает, следит за порядком в санатории и вокруг. Где бы мы ни находились — в медицинском модуле, в столовой или в санаторном парке, — везде маячит его высокая, сутуловатая фигура в обтягивающем полное тело халате. Он производил впечатление серьезного, работающего человека, мне и в голову не приходило, что он взяточник и казнокрад...

Ладно, это не так важно. Не так важно, потому что наконец-то позвонил Тарас, и голос у него такой же искренний и любящий, как летом в Моршине. Или ранней осенью, когда он гостил у меня, а потом непрерывно звонил, словно хотел услышать великую новость.

— Будь осторожнее, прошу тебя, — умоляла я. — Не рискуй из-за каких-то взяточников. Они всегда были, есть и будут, а если с тобой что-нибудь случится, наш малыш этого не переживет!

— Какой малыш?! — оторопел он, а потом закричал: — Повтори, что ты сказала?!

— У нас будет сынок Ивасик! — заплакала я в трубку. — У меня теперь вас двое — Тарасик и Ивасик...

— Я приеду к тебе, примчусь, — кричал Тарас в трубку, как будто я находилась далеко-далеко. — Скажи, когда можно приехать?

— Не торопись, — всхлипывала я, — успеешь. Приедешь перед родами, и я тебя уже не отпущу!

— Когда роды, что говорят врачи?

— Ориентировочно в июле...

— Ниночка, мы же так мечтали обвенчаться, я и ты. Мы же оба об этом мечтали!

— Мечтали! Я до сих пор мечтаю. Вижу по ночам, как мы входим в собор Святого Юра и священник, весь в золоте, подходит к нам, улыбаясь, с Евангелием и крестом. Я вижу это так явственно, так чудесно, как будто мы венчаемся с тобой каждую ночь!

— Когда ты приедешь? Я расскажу о тебе родителям, и мы все приготовим для венчания!

— Послушай, — сказала я, пытаюсь выглядеть рассудительной, более рассудительной, чем мой ребенок-муж. — Мне не хочется приезжать беременной и незамужней, знаю, как на это посмотрят твои родные. Одни промолчат, а другие станут укорять тебя, что ты взял гулящую. Лучше, если ты приедешь ко мне в июне — сделай так, чтобы у тебя получилось, убеди родителей. Мы распишемся, и рожать я буду легко и радостно, зная, что ты рядом со мной. Потом ты привезешь нас во Львов — меня, твою законную жену, и законного сына. И мы обвенчаемся, как оба мечтали, — в соборе Святого Юра...

XV

Через некоторое время — жилось мне в эти дни бодро и радостно — пришло еще одно — и снова расстроившее меня — письмо от Люси.

Дорогая Нина, — писала она, и я вновь окунулась в атмосферу Майдана. Мое беспокойство стало перерастать в панику. — Я ушла из газеты. Ушла, чтобы не ждать, когда меня уволят. Причина — несовпадение моих взглядов на текущие события с мнением редакции. Вернулась в спортивную медицину. С трудом нашла место врача в хоккейном клубе. Меня честно предупредили: работа временная, на три-четыре месяца. Клуб закрывается, хозяин, молочный туз, отказывает клубу в финансировании. И вообще — хоккей ему больше не нужен, это теперь «москальская игра». Теперь я должна подыскать что-нибудь более надежное и стабильное. А где искать и что искать — в нашем бедламе не разберешь. Страна катится в неизвестность, и что с нами будет завтра — большой вопрос.

Сегодня я присутствовала на соревнованиях по хоккею. Медсестра Света была не в духе и в ходе полемики даже зиганула. А ведь простая сельская дивчина. А спортсмены перед игрой с белорусами проорали привычное «Слава Украине! Героям слава!» Белорусам это очень не понравилось. Отдайте мне мой Киев, умоляю! Перенесите боевые действия на свои поля: во Львов, Коломбыю, Яремчу. Захватите свою Говерлу, жгите костры напротив Оперного театра, ходите в туалет в подъездах и на улицах, ломайте, гаďte! Ведь киевляне не поехали к вам на Западенину и не заставляют говорить по-русски! Почему западный Майдан навязывает свои взгляды всей огромной Украине?

...Почти вся моя верхняя одежда пропахла едким дымом. Я, клятая москалька жидовского происхождения, киевлянка, чьи предки жили в Киеве в третьем и даже четвертом поколении, никогда, слышите, никогда не прошу вам надругательства над моим городом!

Самый страшный вывод из происходящего, скорее риторический вопрос: откуда столько мрази? И где, где нормальные люди? Чем они заняты? И почему молчат? Неужто молчание ягнят?

...Сегодня двум сотрудникам мэрии двое гуцулов брызнули в лицо из газового баллончика. У обоих ожог глаз. Один из «революционеров» оказался психически больным, со справкой из психдиспансера.

В мэрии захватили и удерживают двух милиционеров. Думаю, что их пытаются. Уверена. Там есть своя пыточная, операционная и парикмахерская, где всем мужикам выстригают украинские оселедцы.

Трем сотрудникам «Беркута» выдавили глазные яблоки. Украина становится Чечней девяностых. Или уже стала. В центре Майдана «революционеры» соорудили деревянную катапульту и все время подносят к ней камни. Летят «коктейли Молотова», их делают у киевлян по домам, слышала сама. Какие-то бабки несут картон, бумагу, дрова, чтобы бросить свое полено в пожар революции. Милиции по-преж-

нему официально запрещено сопротивляться. Это не революция, а националистический погром, погружение в адский средневековый мрак. Еще чуть-чуть, и они поставят виселицы. И будут вешать людей. Я наконец увидела Украину такой, какая она есть. И увидела людей. Разных. Какой же это кошмарный сон! И вот я думаю, что этот сон пройдет, пройдет. Весь вопрос в том — когда?

На Крещатике толпы крестьян в кожухах. Мороз. Жинки их отпустили и казали: «Без перемоги не вертайтесь!» Наша дворничиха Наташа тоже хочет бросить лопату и пойти на майдан, потому что ЖЭК задерживает зарплату, а там каждый день даю еду и деньги. И чистить снег не надо.

«Як же вам не соромно у цэнтри Кыва розмовляты російською мовою?» — искренне так недоумевает простая женщина из города Ровно, рядом залиvisto смеется девушка: «У москалей мова собачья!»

Не поехали бы все в... Ровно. Вместе с Наташей.

Нынешний майдан проходит под лозунгом: «Зиг хайль, Рудольф Гесс! Гитлер-югенд СС!» С такими криками активисты майдана избивают людей битами, дубинами, цепями, саперными лопатками.

Мой прадед Лев держал медную лавку. Он лудил посуду, чинил, чистил подсвечники, умел зарезать кошерно курицу, ходил в синагогу по субботам, имел одиннадцать детей, девять из которых потом получили высшее образование. В 1941 году его, мою прабабушку и еще шестерых моих родственников расстреляли в Бабьем Яру. Евреев сдавали и расстреливали украинские полицаи. Евреи, участвующие в сегодняшнем шабаше, объясняют: «Янукович отнимает бизнес и давит предпринимателей, мы сейчас воспользуемся бандеровцами, чтобы свалить Януковича, а потом пойдем и помоем руки».

Неужели вам «бабки» важнее памяти ваших предков, могил, в которые вы плюнули, встав под бандеровские флаги? Вы не успеете руки помыть, ребята. А даже если и помоете — я вам руки не подам.

...Оказывается, можно вот так, зверством, запугать... Зверством, отрезанием рук, приковыванием наручниками, обливанием ледяной водой, пытками — менять власть, называть полстраны выродками... Теперь мы так будем жить. Будет диктатура пеня гимна, вышиванок, вонючих кожухов, шаровар, сала, мовы в издевательском режиме и окончательная, бесповоротная деградация Украины. Других вариантов, Нина, я не вижу.

Твоя
ЛШ.

Я дважды перечитала письмо и подумала: Люся, конечно, славная девушка, мне искренне ее жаль, но что я могу поделать, чем утешить? Да ничем, — вздохнула я и снова вернулась мыслями к себе...

XVI

С того далекого зимнего дня Тарасик звонил каждый день. Утро начиналось с того же, чем заканчивался вечер, — ожидания телефонного звонка. Он рассказывал о новостях милого маленького Моршина. Зимой их так мало, что все события можно пересчитать по пальцам. Женится и обвенчался в церкви Покрова Матери Божией друг Тараса и товарищ по походам в лес, за грибами Дмитро Кравец. Умерла соседка, столетняя вуйна Любця, высокая, худая старуха с лицом, сморщенным, как сухой чернослив. А у вуйны Веры сбежал со двора золотистый, с синим отливом, петух, его разыскивали по всему Моршину и обнаружили на заднем дворе виллы «Анна», деловито разгребавшим кучу свежего навоза. Доктор Мамкевич сбежал из города в неизвестном направлении, и Тарас уверял, что «на Галичине» ни за какие пряники он больше

не появится. А если появится, то его убьют — «сообщники Довбуша», — молча иронизировала я. — Или арестуют как злого коррупционера. Городская власть пока еще на своих местах. Все чего-то ждут, наверное, когда хлопцы вынесут их из мэрии вместе с импортными креслами.

Отряд Тараса разросся, его выбрали сотником и присвоили сотне имя Олексы Довбуша. А врач у нас — санаторный доктор Войтецкий, которого ты называла Войнички! Хлопцы предлагают вооружиться, как это делают патриоты по всей Галичине, и двинуться на Киев...

От таких новостей у меня на душе скребли кошки, я умоляла Тараса не вмешиваться в столичные авантюры, но искреннего и честного «Довбуша» обуревал пыл борьбы за справедливость. И это-то пугало меня больше всего. Больше, чем предстоящие роды и подвешенность моего, нашего существования. Мы с Тарасом, люди без определенного настоящего и будущего, замерли, застыли в ожидании, в какую сторону качнется маятник судьбы. Душой готовящейся стать матерью женщины я понимала двойственность нашего положения, и эфемерность наших надежд становилась все заметнее...

Тарас радовался, что скоро станет отцом, у него появится наследник, сын. Но это была радость ребенка, открывшего что-то новое и ничего не менявшее по существу. Осторожность, расчетливость, чувство сохранения семьи у него еще не пробудились, и это смущало больше всего. Тарас не готов к серьезной жизни. Не в состоянии отдать предпочтение личному, а не общественному благу. Альтруизм — славное чувство и прекрасная черта характера, когда он подкреплен заботой о себе. Не менее чуткой, чем забота о ближних. Наверное, я рассуждаю не как христианка, но я женщина и будущая мать, а Тараса, увы, не переубедить.

— Что ты, — весело кричал он в телефонную трубку, — все нас боятся, и никто не сопротивляется. Да и насилия мы не совершаем — люди давно ждали, когда молодежь Галичины поднимется на борьбу и покажет пример всей Украине! Менты без драки сдают оружие, теперь мы можем — все!

Глотая слезы, я слушала его восторженную трескотню и... была бессильна что-либо изменить.

— Завтра мы отправляемся в Киев. Всей сотней! И добьемся отставки Януковича. Если он не захочет уйти мирно, применим силу!

— Возьми теплые вещи, — уговаривала я. — В Киеве холодно, и на палатки не надейся. Вряд ли их будут отапливать.

— Хорошо, обязательно возьму, — веселился Тарас. — Спасибо, что заботишься. Но ты обо мне не беспокойся. Следи за собой и пестуй Ивасика! Целую тебя, коханая, и жду нашей встречи!..

И снова дни потянулись за днями в ожидании успокаивающих душу вестей. Не отрываясь, я следила по телевизору за репортажами с Майдана. Они были продолжительны и подробны, пока не превратились в непрерывную, с утра и до утра льющуюся ленту новостей. Это была лента ужасов. Со взрывами, пожарами, столкновениями с милицией. Зрелище горящих крыш, исторгавших клубы густого, как из крематория, дыма угнетало, и я не знала, куда деваться от страха. В каждом мелькнувшем на экране лице мне чудился Тарас. Я вглядывалась в людской хаос, в эту всеобщую жажду крови, пытаюсь разглядеть что-нибудь человеческое. Тарас был где-то там. Я была уверена, что он — в первых рядах атакующих. Но людей на Майдане камера не показывала крупным планом, а лица были закрыты черными платками. Их выражение таялось, расплывалось, сливалось с густым дымом и отсветами казавшегося бесконечным пожара...

Насмотрюсь на Майдан с вечера, наплачусь, а утром с тяжелой головой отправляюсь на работу и мысленно тороплю время, чтобы прибежать домой, второпях перекусить и снова усесться перед телевизором.

Однажды — я как раз собиралась в училище — позвонил Тарас: утро на Майдане — более-менее спокойное время суток. Ситуация обостряется к вечеру, когда никто не скрывает своих намерений.

— Как ты питаешься? — перебила я его: «Враг уже дрогнул! Еще немного — и победа будет за нами!»

— С питанием, коханая, у нас неважно. Комендатура лагеря заботится о добровольцах, работает полевая кухня, но этого маловато... Что ты, — восторженно голосил на мои ахи и охи. — Главное — победить врага, сытно есть будем потом!

— Я пришло тебе денег, слышишь? Не смей отказываться! Старайся есть горячее!

Деньги, не надеясь на исправную работу почты, я отправила в тот же день с помощью Оли. Ее соседка Надя работала проводницей на скором киевском поезде. Я сняла со счета последние оставшиеся от папиного наследства деньги, запечатала в конверт тысячу долларов и отправилась на вокзал.

Было морозно, дул сухой, пронизывающий ветер. На перроне, как и осенью, царили праздничная суэта и приподнятое настроение. Все те же сотни и сотни людей с сумками, пластиковыми пакетами и рюкзаками толпились у вагонов, веселыми кучками бродили по перрону. Мужчины были навеселе, женщины, казалось, тоже, потому что громко смеялись и взвизгивали под звуки духового оркестра.

Протолкавшись к тринадцатому вагону, я нашла проводницу Надю. Она стояла в тамбуре и выговаривала кому-то внизу:

— Мущина, я в сто двадцатый раз вам повторяю: это — тринадцатый вагон, а у вас пятый! Ищите свой вагон.

— Так сказали, с головы поезда...

— Ваш вагон и есть с головы, а вы полезли в хвост!

— Передам, не беспокойся, — успокоила она, когда я пробилась в вагон, и Надя привела меня в служебное купе. — Как звать, говоришь, — Тарас Бульба? Та я шутю, девушка! Я поняла: Тарас Кондратюк!

— Что здесь творится? — поинтересовалась я, успокоившись: конверт с деньгами был погружен в служебную сумочку Нади, и она еще раз уверенно кивнула:

— Не переживай, доставлю в полной сохранности! А творится... Так то ж заводские едут в Киев, не допустить Майдан. Все едут и едут, а Майдану хоть бы что — поет себе и пляшет!

— Его уже допустили, — пожалала я плечами.

— Отож, — охотно кивнула Надя. — Нужны вы там, как зайцу стоп-сигнал, — кивнула она в сторону перрона, забитого пробивающимися в вагоны и горланившими песни добровольцами. Несколько дней спустя я увидела их по телевизору в Киеве. Боязливыми кучками они перетаптывались в парке Мариинского дворца. Женщины лениво помахивали голубыми флажками Партии регионов, а мужчины, засунув руки в карманы, презрительно наблюдали за происходящим. Недовольство присутствием в этом «бардаке» (их любимое словечко) и тяжелая апатия были написаны на хмурых, недобрых лицах...

Праздники, Новый год и Рождество, прошли тихо и уныло.

В двадцатых числах декабря скончался Дарлик, мой славный золотистый Дарлик, последняя горькая капля уходящего года. Что сулил мне новый год — этого я знать не могла, но предчувствия были тяжелые.

Дарлика я похоронила во дворе дома, под раскидистой липой, ветками выходившей на улицу. Подходя к дому, мысленно здоровалась с Дарликом, а уходя, прощалась с ним на весь безутешный день.

К концу года печаль по Дарлику улеглась. Праздник я встретила в компании Жанны и в последние часы присоединившейся к нам ее подруги Оли. Они вместе руководили драматическим кружком в обществе слепых.

Описывать подробности проводов старого и встречу нового года не стану. Мы выпили, потом смотрели Майдан вперемешку с новогодним концертом из Москвы, и наутро голова была тяжелая, как камни Сизифа.

В компании все делали вид, что нам весело, а на душе скребли кошки. Под конец нас прорвало, и каждая заговорила о своих проблемах, их у всех накопилось немеренно. Но предметом обсуждения, конечно, стало главное: работа. В январе мне нужно уходить в декретный отпуск, а судьба училища висит на волоске. То есть, в сущности, тоненький мой волосок давно оборвался. Директриса заявила, что вопрос о закрытии училища в министерстве решен. Мы работаем до весны, а потом будет создана ликвидационная комиссия, и всех уволят. Я поинтересовалась пособием по беременности: если училище закроют, кто мне будет его выплачивать?

— Спроси, что полегче, Бибикина, — покачала головой Софья Александровна. — А лучше сходи в собес и поинтересуйся. В любом случае без пособия не останешься. Возможно, это будет центр занятости — в собесе тебе объяснят.

— Не переживай, Нинка, — утешала Жанна. — Нашу артель слепых и шайку нищих тоже разгоняют. Как и вашу — из-за отсутствия средств. Попроедем праздники и пойдём на паперть. Копеечку просить...

Рождество встретили тихо и покаянно: с жалким видом постояли со свечками в Свято-Никольском храме, вместе пообедали. И, конечно, выпили.

— Ты не смотри, что беременная, пей! — поощряла Жанна. — У меня подруга в театральном была, Танька Пацио, полька. Пила и курила всю беременность. Рожать ее увезли поддатой и с сигаретой в зубах. Ничего, здорового пацана родила!

Пили мы на этот раз не «огни Москвы», валившие насмерть в новогоднюю ночь, а простую русскую водку.

Пить водку на Рождество предложила Жанна:

— Приготовим русский стол: квашеная капуста, малосольные огурчики и картошка в мундирах. Класс! Ну и, конечно, водочка — предлагаю «Адмирал»! Последний раз банкуем, девочки!

Жанна оказалась права: дальнейшие события вынудили нас забыть о праздниках и удовольствиях.

В конце января по примеру Киева забурился и наш город. Улицы захлестнули толпы манифестантов с антимайдановскими лозунгами. Колонны возглавляли крепкие, молодеватые парни, скандировавшие: «Город — вставай!» На перекрестках молодые люди раздавали георгиевские ленточки, их тут же повязывали на рукава или прикрепляли к груди. В колонне ширился и становился все громче призыв-лозунг: «Россия! Рос-сия!..»

Я вспомнила, что я русская, и тоже нацепила ленточку. Прошептала ослабевшим голосом: «Россия!» — и заплакала.

Прохожие сходили с тротуаров и присоединялись к шествию. Манифестация перекрыла движение транспорта, и конца ей не было видно.

В голове колонны взметнулись российские триколоры и затрепетали таким сиянием, что я обомлела от восторга и счастья. Как будто пришло, явилось то, чего я ждала всю свою жизнь.

На улицах образовались пробки. Когда колонна подошла к мэрии, там уже собралась толпа, скандировавшая: «Мэра в отставку! Мэра в отставку!» Над головами реяли российские флаги, бесчисленное множество флагов; были и красные, коммунисти-

ческие. Зрелище было таким великолепным, таким праздничным, что от восторга перехватывало дыхание. Я забыла о Тарасе, о нашем сыночке, а ведь думать о них стало для меня ежедневной работой — и было так удивительно чувствовать себя свободной от печальных дум и переживаний. Эта свобода — свобода от внутренней несвободы — захлестывала новизной и чувством необыкновенного счастья.

XVII

На площадь, где бурлил Антимайдан, я приходила теперь каждый день. Часами стояла в толпе, слушая речи выступавших, — это были незнакомые, невесть откуда взявшиеся люди. Они взывали к справедливости, к изгнанию олигархов и продажных чиновников, к союзу с Россией. Проклинали Бандеру и Шухевича, и чувство праздника казалось вечным.

Несколько раз появлялся в окружении охраны мэра города Станислав Ивахин, крупный человек в очках на интеллигентном лице. Вооружившись мегафоном, он убеждал толпу разойтись. Обещал выполнить все требования митингующих «в части городских проблем» и заверял, что городская власть выступает за сохранение порядка и законности. Слушали его плохо, освистывали. Из толпы то и дело выкрикивали: «Вон из города, ворюга!»

Однажды утром выяснилось, что Ивахин и чиновники покинули мэрию и исчезли в неизвестном направлении. Ребята-активисты подогнали фургон со звукоусилительной аппаратурой, быстренько ее настроили и включили бравурные марши, прерываемые для выступлений или срочного сообщения с Майдана. Там уже стреляли, появились первые жертвы, и от желающих выступить не было отбоя. Площадь гудела, пела, выкрикивала лозунги и произносила пламенные речи. А ночью разжигали костры, как сто лет назад в Петрограде перед Смольным, и вооруженные палками добровольцы охраняли входы в мэрию.

Наутро революционное действо возобновлялось: к российским флагам, трепетавшим в толпе и на флагштоках, добавились флаги Донецкой области с восходящим солнцем на голубом фоне.

Несколько раз звонил Тарас. Голос его был то уставшим, то веселым и бодрым, но одинаково заботливым и любящим. Я рассказывала ему о происходящих у нас событиях, он молча выслушивал и переводил разговор на меня: как мое здоровье и как ведет себя малыш, сучит ли он ножками?

— Сучит, сучит, — смеялась я. — Такой же беспокойный, как отец. Иной раз так ударит, что кажется, выскочит из утробы!

— Скажи ему, пусть потерпит. Папа скоро освободится и приедет. И вот тогда пускай выскакивает!

— А маме, — делано обижаюсь я. — Почему папа не говорит о своем приезде маме?!

— К тебе тоже приеду, любимая, как же иначе, для меня вы одно целое!

— Как и мы с тобой, — подхватывала я, целуя клавиатуру телефона, чтобы Тарас услышал звук поцелуя. Услышал и поторопился...

Но Майдан не спешил отпускать моего единственного, моего мужа, отца моего ребенка. Как не отпускал нас всех. На мой мобильный позвонил незнакомый мужчина и грубым голосом спросил, знакома ли мне Людмила Шварцман? Я ответила, что она моя подруга, и тот же голос сообщил, что Люся погибла. Убита на Институтской улице вместе с той самой «Небесной сотней». Похоже, случайно оказалась в этом месте и в это время.

У меня схватило сердце. Целый день я пила таблетки и убеждала себя не думать о погибшей Люсе, только о хорошем, этого требует мой малыш, мой мальчик...

Януковича вскоре свергли, или он сам убежал. Майдан рассасывался, и сотня Тараса охраняла постепенно пустевший лагерь.

Но что-то мне подсказывало, что это не финал, продолжение обязательно последует. Я это видела по флагам у мэрии. Российские триколоры исчезли, куда-то подевались невзрачные стяги Донецкой области. Площадь запестрела черно-сине-красными знаменами Донецкой республики. Они мне нравились. Но я не знала, как посмотрит на это Тарас, мне хотелось, чтобы он понял нас и не осудил.

— Скоро приеду, — сообщил он по телефону во время очередного звонка. — Все будет хорошо, немного потерпи.

А сам знал, наверняка знал, что события себя не исчерпали и впереди ожидают новые трудности. Он напITYвал меня и маленького Ивасика надеждой на лучший исход, как садовник поит живительной водой только что посаженное дерево.

Но Жанна не разделяла моего оптимизма.

— Не спеши радоваться, — с сомнением покачала она головой, когда я навестила ее на площади у мэрии. Там стояли палатки, где активисты собирали подписи: в одной — за возвращение Януковича, в другой — за союз с Россией, а в третьей шла запись в народное ополчение.

Жанна, рыскавшая по городу в поисках заработка, подвизалась вести учет добровольцев, они тянулись к палатке нескончаемой вереницей.

Жанна улучила минуту, чтобы со мной поговорить.

— Тут неплохо платят. Да и патриотично: я, например, за Русский мир... Но мира, Нинка, как раз и не намечается, — вздохнула она. — Сама видишь, что делается. У нас и вообще... Зайду к тебе позже, когда иссякнет «железный поток»!..

Но зловещий поток не только не иссякал, но с каждым днем прибавлял в плотности и многочисленности. На крыше двенадцатиэтажного здания бизнес-центра торжественно водрузили огромное полотнище Донецкой республики, оно величественно развевалось на теплом и влажном мартовском ветру.

Кто-то пустил слух о скором подавлении народных волнений.

— Нас приказано разогнать, — волнуясь, рассказывал молодой человек в куртке с капюшоном. — Моя теща работает в аэропорту. В город прибыли вертолеты с нацгадами. Все в черном, как эсэсовцы. Говорят, это эски-добровольцы, им посулили амнистию. Так что скоро они тут появятся, — авторитетно заявил он.

В этот же день перед мэрией начали воздвигать баррикады. Главную, у центрального входа, соорудили в три этажа из наваленных канцелярских столов, стульев и прочей офисной мебели. На грузовике привезли камни, кирпич, бетонные блоки, и к вечеру баррикады выглядели устрашающе. По периметру здание обложили автомобильными шинами, и возле них прохаживались добровольцы-часовые.

Ночью я проснулась от беспорядочной стрельбы. Стреляли на проспекте Нахимова, в районе ночных клубов, казино и баров.

Прекратилась стрельба только под утро, но остаток ночи я не сомкнула глаз. Мне было страшно за себя и за нашего маленького: что с нами будет?!

Утром, перед тем, как отправиться на баррикады, я сбегала в магазин за молоком. Соседка баба Валя, тяжело дыша, поднималась по лестнице.

— Вы слышали, Нина, про нашего соседа?

— Какого соседа?

— Валю Кузютова из соседнего дома? У него еще лавочка детских сладостей на углу.

— Что случилось?

— Убили. Вчера. Люди в черном. Гнались за ним до самого дома. Трех шагов, бедняга, не добежал. Что делается, что делается!.. — покачала головой старуха.

Тяжело дыша, я заковыляла на баррикады.

У входа в мэрию толпились хмурые, озлобленные мужчины и женщины в черном. На канцелярских столах, заваленных цветами, золотились иконы. Тлели свечи, женщины вытирали глаза и чуть слышно переговаривались.

— Что произошло? — спросила я у молодой желтоволосой женщины в черной косынке.

— Наших ночью постреляли, — сухо ответила она.

Я стала ее расспрашивать, и она рассказала.

Вечером пронесся слух, что на рассвете национальная гвардия вместе с милицией будут штурмовать мэрию. В милиции служили местные ребята, и кто-то предложил отправить делегацию в учебный центр и уговорить милиционеров не вмешиваться в события. Образовалась большая толпа.

На подходе к центру в сумерках колонну атаковали неизвестные в масках. С крыш вели огонь снайперы...

Коренастый мужчина с пришибленным выражением лица рассказывал подробности.

— Провокатор. Нас погнал к учебному центру провокатор. Не можем вспомнить, кто первый предложил отправиться на Нахимова. Когда по нам стали бить из автоматов, люди побежали в Свято-Никольский храм, чтобы ударили в набат. Но отец Николай отказал... Нацгады стреляли во всех подряд: в прохожих, по проезжающим автомобилям... Трупы потом всю ночь вывозили на грузовиках. Неизвестно кто и неизвестно куда...

От этих слов мне стало дурно. Я отошла, чтобы справиться с тошнотой. Мои мысли были о Тарасе: неужели он тоже из этих? Любовь и тревога не покидали меня ни на минуту. На мои звонки Тарас не отвечал и сам не звонил, как в воду канул. Я не знала, что и подумать. Закралась мысль: не приехал ли он вместе с нацгвардейцами?

— Не может быть, — авторитетно заявила Жанна — она забежала ко мне после своей палатки, и я уговорила ее поесть супу.

— Похлебай горячего, ты же весь день на улице! Солнце греет, а ветер холодный. Схлопочешь простуду...

Я рассказала ей о моих подозрениях

— Не может быть! — стала успокаивать она. — В нацгвардию набирали эков. Других там нет, не волнуйся!

Я слушала ее с видом васнецовской Аленушки, печально подперев щеку. Мне не елось и не пилоь: «Как там Тарас, — думала я. — И знать бы, где находится это „там“?»

«Знать» оказалось не так просто. Я даже не представляла, кому нужно позвонить, чтобы навести справки и разыскать пропавшего «супруга»...

— Ты себя не накручивай, — оторвавшись от тарелки и облегченно вздыхая, посоветовала Жанна. — Жизнь не любит, когда к ней относятся серьезно. Живи просто, и ты будешь счастлива! Никуда твой казачок не денется. Погуляет и отыщется: таких, как ты, да еще с первым ребенком не бросают...

Я слушала и думала: конечно, Жанна права. Но почему-то жить по чужим рецептам у меня не получается. А собственная дорога выводит черт знает куда. В такие дебри, из которых я не в состоянии самостоятельно выбраться...

Каждое утро по-прежнему я приходила на Антимайдан, там кипели страсти. Митингующие насылали кары небесные на зловердных путчистов, на регионалов и олигархов. Страшно, думала я, что люди разучились любить. И уважать других. Ценить то, что называется счастьем. Всем хочется чего-то нового и необыкновенного, а в итоге получается чушь и безобразие...

Насчет Тараса Жанна оказалась права: он все-таки позвонил. Случилось это чудо — другими словами назвать не могу — в конце апреля.

— Скоро увидимся, коханая, — зазвучал в трубке его теплый, любимый голос. Он был слаще самых нежных слов. Я думала, что не может быть музыки прекраснее Casta

Diva, это моя исповедь, моя душа и печаль. Но голос Тараса дышал такой любовью и нежностью, что я заплакала. И поняла: скоро, совсем скоро наступит конец нашей истории. — Мы увидимся, милая, — трепетал в трубке его мягкий баритон.

И действительно мы увиделись, и теперь моя история подошла к концу.

Но не такой встречи я ждала и не такого исхода.

К концу апреля ситуация в городе накалилась до предела. К площади перед мэрией, заполненной бурлящей толпой, подъехали грузовики, из них выпрыгнули солдаты с оружием. Выстроившись в шеренгу, они защелкали затворами и открыли огонь выше наших голов. Женщины подняли визг. Мужчины остервенело ругались, митинг дрогнул и побежал. Я почувствовала рези в животе и бежала, обхватив руками живот.

Ночью меня стошнило, но к утру стало легче, и я уснула.

Несмотря на вчерашнюю стрельбу, на следующий день площадь снова была полна. Рассказывали, что ночью приезжали неизвестные в гражданской одежде, сняли и увезли палатки, где записывали добровольцев. Жанна на мои звонки не отвечала, и кто-то возле мэрии сказал, что активистов увезли в неизвестном направлении...

Все эти весенние дни я пригоршнями пила валерьянку и молила Бога, чтобы мне и сыночку не стало совсем плохо.

— Терпи, — приказывала я себе. — Ни о чем не думай, не беспокойся и не переживай. Нужно сохранить Тарасу его кровинку. Как он будет радоваться, увидев меня с животом! Там крутится, поворачивается, бьет маму ножками милый, своенравный Ивасик!

Однако на баррикады я продолжала ходить, как заведенная. Так, думалось мне, будет вернее, и я что-нибудь узнаю о Тарасе.

На митинге выступал представитель Коммунистической партии.

— Товарищи, — выкрикивал в микрофон худой человек с изможденным лицом узника. — Через два дня мы будем отвечать самый светлый и радостный праздник — Девятое мая. День Победы советского народа над немецким фашизмом. Теперь, когда фашизм поднял голову на Украине, наша святая обязанность выйти и показать им, что мы не сдались и не сдадимся кровавой хунте! Выходите на праздничную манифестацию, организуемую городским комитетом партии! Берите цветы, как можно больше цветов для возложения к памятнику павшим! Берите с собой детей и внуков, вместе мы — народ, мы — сила!

Ему бурно аплодировали. Двое мужчин в плащах озабоченно покуривали в сторонке.

— В аэропорт прибыли еще три вертолета с гвардией и батальоном «Днепр».

— Это еще кто?

— Добровольцы. Из самообороны Майдана. С ними депутаты Верховной Рады для руководства операцией...

— Значит, все-таки будет штурм?

— Похоже. Думаю, девятого числа все и решится...

Я похолодела. В последний раз Тарас звонил из Днепропетровска. От ответа на вопрос, что он там делает, он уклонился, только повторял:

— Успокойся, коханая, скоро мы увидимся!

Я верила и не верила очевидному: Тарас прибыл из Днепропетровска, он — здесь! Но приехал, прилетел не с букетом цветов для любимой и сыночка, а в составе карательного подразделения!

Но мне уже было все равно. Только бы увидеть его, только бы обнять! Без него и сына жизнь теряла для меня смысл. Я не знаю, вопила я внутри, не знаю, как я буду жить без вас!

...Но ничего, успокаивала я себя. Он приедет, оглядится, осмотрится и все поймет. Мой умный, чуткий, все понимающий Тарас! И успокоится. И мы заживем мирной,

счастливой жизнью, как и планировали. Нам все время мешали обстоятельства. Люди с одной и другой стороны со своими мнениями, претензиями на справедливость и единственно верную точку зрения. Как это вульгарно и злобно, злобно и вульгарно, даже слов подходящих я не могла подобрать. Чтобы всех успокоить и усмирить, требовалось вмешательство нас двоих. С нашей любовью и мечтами о счастье. С пренебрежением ко всему суетному. Но оно настигало нас и грызло, как сказочный дракон.

В ночь на Девятое мая я не спала, прислушиваясь к каждому шороху. Окно было отворено, и я вдыхала влажный запах распутившейся зелени. Все было тихо на улице и в городе. Даже ветер затих, майский вольный ветер, только вчера еще весело шелестевший первой листвой. И оттого, что тишина стояла глубокая, как на кладбище, я и сама замирала, как неживая.

После завтрака — ела я нехотя: с трудом выпила кефир, съевала сдобу, запивая чуть теплым кофе. И, настороженно к чему-то прислушиваясь, принялась за уборку. Лишь бы заняться чем-нибудь стоящим. Перемыла оставшуюся с вечера и добавившуюся утром посуду, пропылесосила ковер, протерла мебель. И когда вышла во двор посмотреть, распустились ли первые тюльпаны, поняла, что в городе — началось.

Было около десяти утра. Со злополучной западной стороны, как и в прошлый раз, слышались короткие, а потом длинные захлебывающиеся автоматные очереди. Как была я в домашнем халате, так неуклюже и вывалилась со своим животом на улицу.

В стороне, откуда доносилась пальба, должна была проходить колонна манифестантов к монументу Жертвам фашизма. Зазвонил, запел Сороковой симфонией Моцарта мобильный телефон, и я вздрогнула, услышав голос Тараса.

— Нина, любимая, я недалеко от тебя. Скоро буду совсем рядом. Сиди дома и не выходи на улицу. Я приду: постучу, позвоню. И обниму тебя и нашего Ивасика!

Из-за угла, тяжело урча, вывернул тентованный грузовик. И, прибавив скорость, двинулся в сторону УВД. Из кузова выпрыгивали люди с оружием, я хорошо их разглядела, они были в касках и с желтыми повязками на рукавах. Торопливо и молча они перетаскивали мусорные баки на середину улицы, перекрывая проезд.

Стрельба за углом затихла, но слышались выстрелы справа, возле управления. Мне показалось, что среди выпрыгнувших из грузовика бойцов мелькнула фигура Тараса.

И — я словно окаменела. Только сипела что-то тоскливое и неопределенное. Глазами впивалась в заполненный бегущими, суетящимися людьми проем улицы, пытаюсь разглядеть Тараса. «Господи, — молилась я. — Отведи от него беду, спаси и сохрани!»

Но Тараса я не видела.

Людская суета возле УВД сменилась оглушительной перестрелкой: засевшие в управлении милиционеры открыли огонь по атакующим. От мусорных баков бежали еще трое с желтыми повязками и в касках. Один махнул рукой: «Уходи!», но я не могла двинуться с места. Мне показалось... Показалось, что я вижу его — высокую, стройную фигуру Тараса, его походку враскачку, как у молодого пингвина, я и дразнила его, шутя, пингином...

Я ринулась туда. Двое бойцов тащили в укрытие брезентовое полотно с убитым бойцом. Я подбежала... нет, слава богу, не он....

Возле поликлиники группировалась для атаки группа штурмовиков. Первый в колонне махнул мне рукой — «прочь!». А я пыталась рассмотреть каждого в шеренге. Но Тараса я не видела, нет! Бог ослепил меня, чтобы я не видела его последние минуты!

Шеренга по команде старшего ринулась на штурм управления, но была отброшена встречным огнем. Оборонявшиеся пытались прорвать осаду: три-четыре милиционера с автоматами рванулись за отступавшими, но были поражены ответным огнем. Об-

разовалась каша из живых и мертвых, своих и чужих — для меня они все были чужие и все свои.

Придерживая руками низ живота, я засеменила к воротам, ведущим во двор управления. Там лежали неподвижные тела... «Господи, спаси нас всех, сохрани и помилуй!» — в ужасе молилась я.

К убитым бежали ребята, я метнулась к ним — пули свистели, позванивали, как рассерженные осы.

Бойцы с выражением ужаса и брезгливости на лицах укладывали погибшего на брезент. Это и был Тарас. Он лежал спокойный и белый, как стена, и на родном его лице не было ни кровинки. На теле — тоже. Я не поверила, что он убит. Глаза закрыты, как будто он спал.

Не помню, как я закричала, как упала на его тело, непривычно мягкое и податливое. Острая боль внизу живота пронзила меня. Я потеряла сознание и не помню, что было потом...

Очнулась я в больнице, где стены были такие же белые и безмолвные, как лицо и губы Тараса, моего первого и последнего мужа...

Когда я оправилась после выкидыша и меня выписали, я долго жила как в пустоте. Все вокруг меня молчало. Молчанием были пронизаны моя душа и весь мир, только что отчаянно и беспорядочно метавшийся вокруг.

Жанна не звонила. Лишь несколько недель спустя я узнала от забежавшей проведать меня Оли, что ее уже нет. Жанна погибла в пыточной камере в аэропорту, куда ее заточили как сепаратистку. Боевики батальона «Днепр» устроили там свою базу и тюрьму. А я продолжаю жить, находя утешение в обществе сестер-василианок, — они относятся ко мне с нежностью, и я благодарна им за утешение и любовь.

На этом я и заканчиваю мои записки.

Вчера вечером, после молитвы Господней, я сообщила настоятельнице об окончании моей работы. И попросила определить для меня послушание в соборе Святого Юра. Где должно было состояться наше с Тарасом венчание и крещение Ивасика. Она обещала, и от ее слов мне стало радостно и хорошо, как будто мой муж и сын живы, и они меня ждут...